

Н.Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

Н. Г. Гарин-Михайловский

РАССКАЗЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1957

Оформление художника
П. Павлинова

О ГАРИНЕ-МИХАЙЛОВСКОМ

Изредка в мире нашем являются люди, которых я назвал бы веселыми праведниками.

Я думаю, что родоначальником их следует признать не Христа, который, по свидетельству евангелий, был все-таки немножко педантом; родоначальник веселых праведников, вероятно, Франциск Ассизский: великий художник любви к жизни, он любил не для того, чтоб поучать любви, а потому что, обладая совершеннейшим искусством и счастьем восторженной любви, не мог не делиться этим счастьем с людьми.

Я говорю именно о счастье любви, а не о силе сострадания, заставившей Анри Дюнана создать международную организацию «Красного Креста» и создающей такие характеры, как прославленный доктор Гааз, практик-гуманист, живший в тяжелую эпоху царя Николая Первого.

Но — жизнь такова, что чистому состраданию уже нет места в ней, и, кажется, в наше время оно существует только как маска стыда.

Веселые праведники — люди не очень крупные. А может быть, они кажутся не крупными потому, что с точки зрения здравого смысла их плохо видно на темном фоне жестоких социальных отношений. Они существуют вопреки здравому смыслу, бытие этих людей совершенно ничем не оправдано, кроме их воли быть такими, каковы они есть.

Мне посчастливилось встретить человек шесть веселых праведников; наиболее яркий из них — Яков Львович Тейтель, бывший судебный следователь в Самаре, некрещеный еврей.

Тот факт, что судебный следователь — еврей, служил для Якова Львовича источником бесчисленных невзгод, ибо христиан-

ское начальство смотрело на него как на пятно, затемняющее чистейший блеск судебного ведомства, и всячески старалось выбить его из позиции, которую он занял, кажется, еще в «эпоху великих реформ». Тейтель — здравствует, о своей войне с министерством юстиции он сам рассказал в книге «Воспоминаний», изданной им. Да, он еще благополучно здравствует, недавно праздновали его семидесятн- или восьмидесятилетний юбилей. Но он следует примеру А. В. Пешехонова и В. А. Мякотина, которые — как я слышал — «не прнсчитывают, а отсчитывают» года своей жизни. Вполне солидный возраст Тейтеля нимало не мешает ему делать привычное дело, которому он посвятил всю свою жизнь: он все так же неутомимо и весело любит людей и так же усердно помогает им жить, как делал это в Самаре, в 95—96 годах.

Там, в его квартире, еженедельно собирались все наиболее живые, интересные люди города, впрочем — не очень богатого такими людями. У него бывали все, начиная с председателя окружного суда Анненкова, потомка декабриста, великого умника и «джентльмена», включая марксистов, сотрудников «Самарского вестника» и сотрудников враждебной «Вестнику» «Самарской газеты»,— враждебной, кажется, не столь «идеологически», как по силе конкуренции. Бывали адвокаты-либералы и молодые люди неопределенного рода занятий, но очень преступных мыслей и намерений. Странно было встречать таких людей «вольными» гостями судебного следователя, тем более странно, что они отнюдь не скрывали ни мыслей, ни намерений своих.

Когда появлялся новый гость, хозяева не знакомили его со своими друзьями, и новичок никого не беспокоил, все были уверены, что плохой человек не придет к Якову Тейтелю. Царила безграничная свобода слова. Тейтель сам был пламенным полемистом и, случалось, даже топал ногами на совопросника. Красный весь, седые, курчавые волосы яростно дыбятся, белые усы грозно ощетинились, даже пуговицы на мундире шевелятся. Но это никого не пугало, потому что прекрасные глаза Якова Львовича сияли веселой и любовной улыбкой.

Самоотверженно гостеприимные хозяева Яков Львович и Екатерина Дмитриевна, супруга его, ставили на огромный стол огромное блюдо мяса, зажаренного с картофелем, публика насыщалась, пила пиво, а иногда густо-лиловое, должно быть, кавказское вино, обладавшее привкусом марганцево-кислого калия; на белом это вино оставляло несмываемые пятна, но на головы почти не действовало.

Покушав, гости начинали словесный бой. Впрочем, бои начинались и во время процесса насыщения.

У Тейтеля я и познакомился с Николаем Георгиевичем Михайловским-Гариным.

Подошел ко мне человек в мундире инженера путей сообщения, заглянул в глаза и заговорил быстро, бесцеремонно:

— Это вы — Горький, да? Недурно пишете. А как Хламида — плохо. Это ведь тоже вы, Хламида?

Я сам знал, что Иегудиил Хламида пишет плохо, очень огорчался этим, и поэтому инженер не понравился мне. А он пиявил меня:

— Фельетонист вы слабый. Фельетонист должен быть немножко сатириком,— а у вас этого нет. Юмор есть, но грубоватый, и владеете вы им неумело.

Очень неприятно, когда вот так наскочит на вас незнакомый человек и начнет говорить правду в глаза вам. И — хоть бы ошибся в чем-нибудь, но — не ошибается, все верно.

Стоял он вплоть ко мне и говорил так быстро, как будто хотел сказать очень много и опасался, что не успеет. Он был ростом ниже меня, и я хорошо видел его тонкое лицо, украшенное холеной бородкой, красивый лоб под седоватыми волосами и удивительно молодые глаза; смотрели они не совсем понятно, как будто ласково, но в то же время вызывающе, задорно.

— Вам не нравится, как я говорю? — спросил он и, точно утверждая свое право говорить неприятности мне, назвал себя: — Я — Гарин. Читали что-нибудь?

Я читал в «Русской мысли» его скептические «Очерки современной деревни» и слышал о жизни автора среди крестьян несколько забавных анекдотов. Сурово встреченные народнической критикой, «Очерки» весьма понравились мне, а рассказы о Гарине рисовали его человеком «с фантазией».

— Очерки — не искусство, даже не беллетристика,— сказал он, явно думая о чем-то другом, — это было видно по рассеянному взгляду его юношеских глаз.

Я спросил: правда ли, что он однажды засеял сорок десятин маком?

— Почему же непременно — сорок? — как будто возмутился Николай Георгиевич и, прихмурив красивые брови, озабоченно пересчитал: — Сорок грехов долой, если убьешь паука, сорок сороков церквей в Москве, сорок дней после родов женщину в церковь не пускают, сорокоуст, сороковой медведь — самый опасный. Черт знает, откуда эта сорочья болтовня? Как вы думаете?

Но, видимо, ему было не очень интересно знать, как я думаю, потому что тотчас же, хлопнув меня по плечу маленькой, крепкой рукой, он сказал с восхищением:

— Но если б вы, батенька, видели этот мак, когда он зацвел!

Затем Гарин, отскочив от меня, устремился в словесное побоище, разгоревшееся за столом.

Эта встреча не вызвала у меня симпатии к Н. Г., мне почудилось в нем нечто искусственное. Зачем это он исчислял сроки? И не скоро привык я к его барственной щеголеватости, к «демократизму», в котором мне сначала чудилось тоже что-то показное.

Был он строен, красив, двигался быстро, но изящно, чувствовалось, что эта быстрота не от нервной расшатанности, а от избытка энергии. Говорил как будто небрежно, но на самом деле очень ловко и своеобразно построенными фразами. Замечательно искусно владел вводными предложениями, которые терпеть не мог А. П. Чехов. Однако я никогда не замечал у Н. Г. свойственной адвокатам привычки любоваться своим красноречием. В его речах всегда было «словам — тесно, мыслям — просторно».

Должно быть, с первой встречи он часто вызывал впечатление, не очень выгодное для себя. Драматург Косоротов жаловался на него:

— Мне с ним хотелось о литературе побеседовать, а он меня угостил лекцией о культуре корнеплодов, потом говорил что-то о спорынье.

А Леонид Андреев на вопрос: как понравился ему Гарин? — ответил:

— Очень милый, умный, интересный, очень! Но — инженер. Это — плохо, Алексеюшка, когда человек — инженер. Я боюсь инженера, опасный человек! И не заметишь, как он приладит тебе какое-нибудь лишнее колесико, а ты вдруг покатишься по чужим рельсам. Гарин этот очень склонен ставить людей на свои рельсы, да, да! Напористый, толкается...

Николай Георгиевич строил ветку железной дороги от Самары на Сергиевские серные воды, и эта постройка сопряжена была у него со множеством различных анекдотов.

Понадобился ему локомотив какой-то особенной конструкции, и он заявил министерству путей сообщения о необходимости купить локомотив в Германии. Но министр путей или Витте, запретив покупку, предложил заказать локомотив в Сормове или на коломенских заводах. Не помню, путем каких сложных и смелых ухищрений Гарин купил локомотив все-таки за границей и контрабандно пригнал его в Самару; это, должно быть, сохранило несколько тысяч денег и несколько недель времени, более дорогого, чем деньги.

Но он юношески восторженно хвастался не тем, что сэкономил время и деньги, а именно тем, что исхитрился пригнать контрабандно локомотив.

— Вот это — подвиг! — восклицал он. — Не правда ли?

Казалось, что «подвиг» был вызван не столько силою деловой необходимости, сколько желанием преодолеть поставленное препятствие и даже проще: желанием созорничать. Как во всяком талантливом русском человеке, склонность к озорству была очень заметна в характере Н. Г.

Добр он был тоже по-русски. Деньги разбрасывал так, как будто они его отягощали и он брезговал разноцветными бумажками, на которые люди обменивают силы свои. Первым браком он был женат на богатой женщине, кажется, дочери генерала Черевина, личного друга Александра Третьего. Но ее миллионное состояние он в краткий срок истратил на сельскохозяйственные опыты и в 95—96 годах жил личным заработком. Жил широко, угощая знакомых изысканными завтраками и обедами, дорогим вином. Сам ел и пил так мало, что нельзя было понять: чем же питается его неукротимая энергия? Любил делать подарки и вообще любил делать приятное людям, но не для того, чтоб расположить их в свою пользу, нет, этого он легко достигал обаянием своей талантливости и «динамичности». Принимая жизнь как праздник, он бессознательно заботился, чтоб и окружающие его так же принимали ее.

Невольным участником одного из анекдотов, походя создававшихся Гариным, оказался и я. Как-то утром, в воскресенье, я сидел в редакции «Самарской газеты», любуясь моим фельетоном, который был вытоптан цензором, как овсяное поле лошадью. Вошел сторож, еще совершенно трезвый, и сказал:

— Вам часы привезли из Сызрани.

В Сызрани я не был, часов не покупал, о чем и заявил сторожу. Он ушел, пробормотал что-то за дверью и снова явился:

— Еврей говорит: вам часы.

— Позови.

Вошел старенький еврей в стареньком пальто и невероятной формы шляпе, недоверчиво осмотрел меня и положил на стол предо мною листок отрывного календаря, на листке неразборчивым почерком Гарина было написано: «Пешкову Горькому» и еще что-то, чего нельзя было понять.

— Это вам дал инженер Гарин?

— А я знаю? Я же не спрашиваю, как зовут покупателя, — сказал старик.

Протянув руку, я предложил ему:

— Покажите часы.

Но он отшатнулся от стола и, глядя на меня, как на пьяного, спросил:

— Может, есть другой Пешков-Горьков — нет?

— Нет. Давайте часы и уходите.

— Ну, хорошо, хорошо, — сказал еврей и, пожав плечами, ушел, а часов не дал мне. Через минуту сторож и ломовой извозчик внесли большой, но не тяжелый ящик, поставили его на пол, а старик предложил мне:

— Распишите на записку, что получили.

— Это что такое? — осведомился я, показывая на ящик; еврей равнодушно ответил:

— Вы знаете: часы.

— Стенные?

— Ну да. Десять часов.

— Десять штук часов?

— Пусть будет штук.

Хотя все это было смешно, но я сердился, потому что и еврейские анекдоты не всегда хороши. Они особенно плохи, когда не понимаешь их или когда приходится самому играть в анекдоте роль глупую. Я спросил старика: что значит все это?

— Подумайте, кто же едет из Самары в Сызрань покупать часы?

Но еврей тоже почему-то осерчал.

— А какое мне дело думать? — спросил он. — Мне сказали: сделай! И я сделал. «Самарская газета»? Верно. Пешков-Горьков? И это верно. И распишитесь на записку. Что вы от меня хотите?

Я уже ничего не хотел. А старик, видимо, думал, что его втянули в какую-то темную историю, у него дрожали руки, и он ломал пальцами поля своей шляпы. Он так смотрел на меня, что я почувствовал себя виноватым в чем-то пред ним. Отпустив его, я попросил сторожа убрать ящик в корректорскую.

Дней через пять явился Николай Георгиевич, запыленный, усталый, но все-таки бодрый. И тужурка инженера на нём — как его вторая кожа. Я спросил:

— Это вы прислали мне часы?

— Ах, да! Я, я. А — что?

И, с любопытством глядя на меня, он тоже спросил:

— Что вы думаете делать с ними? Мне они совершенно не нужны.

Затем я услышал следующее: гуляя на закате солнца в Сызрани, по берегу Волги, Николай Георгиевич Гарин-Михайловский увидал мальчика-еврея, который удил рыбу.

— И все, знаете, батенька, удивительно неудачно. Ерши клюют жадно, но из трех два срываются. В чем дело? Оказалось, он ловит не на крючок, а на медную булавку.

Разумеется, мальчик оказался красавцем и необыкновенного ума. Человек, далекий от наивности и не очень добродушный, Гарин чрезвычайно часто встречал людей «необыкновенного ума». Видишь то, что сильно хочешь видеть.

— И уже изведавший горечь жизни, — продолжал он рассказывать. — Живет у деда, часовщика, учится мастерству, ему одиннадцать лет. Он и дед — кажется, единственные евреи в городе. Ну и так далее. Пошел с ним к деду. Магазин скверненький, старик чинит горелки ламп, притирает самоварные краны. Пыль, грязь, нищета. У меня бывают припадки... сентиментальности. Предложить денег? Неловко. Ну, я и купил весь его товар, а мальчишке дал денег. Вчера послал ему книг.

И совершенно серьезно Н. Г. сказал:

— Если вам эти часы некуда девать, я, пожалуй, пришлю за ними. Можно отдать рабочим на ветке.

Он рассказал все это, как всегда торопливо, но несколько смущенно и, говоря, все как-то отмахивался коротким, резким жестом правой руки.

Иногда он печатал в «Самарской газете» небольшие рассказы. Один из них — «Гений» — подлинная история еврея Либермана, который самостоятельно додумался до дифференциального исчисления. Именно так: полуграмотный, чахоточный еврей, двенадцать лет оперируя с цифрами, открыл дифференциальное исчисление и когда узнал, что это уже сделано задолго до него, то, пораженный горем, умер от легочного кровоизлияния на перроне станции Самара.

Написан был рассказ не очень искусно, но Н. Г. поведал в редакции на словах историю Либермана с поразительным драматизмом. Он вообще рассказывал превосходно и, нередко, лучше, чем писал. Как литератор он работал в условиях совершенно неподходящих, и удивительно, что он мог, при его непоседливости, написать такие вещи, как «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Клотильда», «Бабушка».

Когда «Самарская газета» попросила его написать рассказ о математике Либермане, он, после долгих увещаний, сказал,

что напишет в вагоне, по дороге куда-то иа Урал. Начало рассказа, иаписаниое иа телеграфиых бланках, привез в редакцию извозчик с вокзала Самары. Ночью была получена длиииейшая телеграмма с поправками к началу, а через день или два еще телеграмма: «Прнсланиое — не печатать, дам другой вариант». Но другого вариаита ои не прислал, а конец рассказа прибыл, кажется, из Екатеринбурга.

Писал ои так иеразборчиво, что рукопись нужно было расшифровывать, а это, коиечио, несколько нзменяло рассказ. Затем рукопись переписывалась знаками, доступными поимаиию наборщнков. Вполне естественно, что, читая рассказ в газете, Н. Г. сказал, сморщнв лнцо:

— Черт знает чего я тут наплел!

Кажется, о рассказе «Бабушка» он сообщил:

— Это написано в одну ночь, на почтовой стаиции. Какието купцы пьяиствовалн, гоготалн, как гуси, а я пнсал.

Я видел черновики его кииг о Маньчжурин н «Корейских сказок»; это была куча разнообразных бумажек, бланки «Отдела службы тягн и двнжения» какой-то железной дороги, лииованые страннцы, вырванные из коиторской книги, афнша коицерта и даже две кнтайские внзитные карточкн; все это испнсаио полусловами, иамекамн на буквы.

— Как же вы чнтаете это?

— Ба! — сказал ои. — Очень просто, ведь это миою иаписаио.

И бойко иачал читать одиу из милых сказок Кореи. Но мне показалось, что читает ои ие по рукопнси, а «по памяти».

Я думаю, что к себе, лнтератору, он относился недоверчнво и несправедлнво. Кто-то похвалнл «Детство Тёмы».

— Пустяки, — сказал он, вздохнув. — О детях все хорошо пишут, о них трудно написать плохо.

И, как всегда, тотчас же уклонился в стороиу:

— А вот мастерам живописи трудио написать портрет ребеика, у нних дети — куклы. Даже «Инфанта» Ван-Дейка — кукла.

С. С. Гусев, талаитлнвый фельетоннст «Слово-Глаголь», попенял ему:

— Грешно, что вы так мало пишете!

— Должно быть, потому, что я больше инженер, чем литератор, — сказал он н невесело усмехнулся. — Инженер я тоже, кажется, не той специальностн, мие нужно бы строить ие по горизоиталям, а по вертнкальным лнниям. Нужио было взяться за архитектуру.

Но о своей работе путейца он рассказывал прекрасно, с великим жаром, как поэт.

И так же отлично, увлеченно рассказывал темы своих литературных работ. Помню две: на пароходе между Нижним и Казанью он говорил, что хочет писать большой роман на тему легенды о Цин Гиу-тонге, китайском дьяволе, который пожелал делать добро людям; в русской литературе легенду эту использовал старинный романист Рафаил Зотов. Герой Гарина, хороший, очень богатый фабрикант, которому скучно стало жить, тоже захотел делать добро людям. Добродушный мечтатель, он вообразил себя Робертом Оуэном, наделал очень много смешного и, затравленный людями здравого смысла, умер в настроении Тимона Афинского.

В другой раз, ночью, сидя у меня в Петербурге, он совершенно изумительно рассказал мне случай, который ему хотелось изобразить:

— На трех страницах, не больше!

Рассказ, насколько я его помню, таков: лесной сторож, человек углубленный в себя, подавленный одинокой жизнью и только чувствующий зверя в человеке, идет к ночи в свою сторожку. Обогнал бродягу, пошли вместе. Вялая и осторожная беседа людей, взаимно не верящих друг другу. Собирается гроза, в природе напряженне, над землею мечется ветер, деревья прячутся друг за друга, жуткий шорох. Вдруг сторож почувствовал, что бродягу соблазняет желание убить его. Он старается идти сзади попутчика, но тот, явно не желая этого, шагает рядом. Оба замолчали. И сторож думает: все равно, что бы он ни делал — бродяга убьет его, — судьба! Пришли в сторожку, лесник накормил бродягу, поел сам, помолился и лег, а нож, которым резал хлеб, оставил на столе да еще перед тем, как лечь, осмотрел ружье, стоявшее в углу у печки. Разыгралась гроза. Гром в лесу гудит особенно жутко и молнии страшнее. Хлещет ливень, сторожка дрожит, как будто сорвалась с земли и плывет. Бродяга посмотрел на нож, на ружье, встал и надел шапку.

— Куда? — спросил лесник.

— Уйду я, ну тя к черту.

— Зачем?

— Знаю! Убить меня хочешь ты.

Сторож схватил его, говорит:

— Полно, брат! Я ведь думал: ты меня убить хочешь. Не уходи!

— Уйду! Уж коли оба думали об этом, значит: одному не жить.

И ушел бродяга. А сторож, оставшись один, сел на лавку, заплакал скупыми, мужицкими слезами.

Помолчав, Гарин спросил:

— А может быть, не надо, чтобы плакал? Хотя он говорил мне: заплакал я горько. Я спрашиваю: «О чем?» — «Не знаю, Николай Егорович, — сказал он, — горестно стало». Может быть, сделать так, чтобы бродяга не уходил, а сказал бы что-нибудь, например: «Вот, братец ты мой, каковы мы люди!» Или просто: легли бы они спать?

Было видно, что эта тема очень волнует его и что он остро чувствует темную глубину ее. Рассказал он очень тихо, почти шепотом, быстренькими словами; чувствовалось, что он прекрасно видит лесника, бродягу, синий блеск молний в черных деревьях, слышит гром, и вой, и шорох. И странно было, что этот изящный человек, с таким тонким лицом и руками женщины, веселый, энергичный, носит в себе такие тяжелые темы. Не похоже это на него, общий тон его книг — легкий, праздничный. Н. Г. Гарин улыбался людям, видел себя работником, нужным миру, и обладал бодрой, подкупающей самоуверенностью человека, который знает, что он добьется всего, чего хочет. Встречаясь с ним нередко, хотя всегда «наскоро», ибо он вечно куда-то спешил, я помню его только бодрым, но не помню задумчивым, усталым, озабоченным.

А о литературе он почти всегда говорил нерешительно, стесненно, пониженным тоном. И когда, спустя много времени, я спросил его:

— Написали о леснике?

Он сказал:

— Нет, это не моя тема. Это — для Чехова, тут нужен его лирический юмор.

Я думаю, что он считал себя марксистом, потому что был инженером. Его привлекала активность учения Маркса, и когда при нем говорили о детерминизме Марксовой философии экономики, — одно время говорить об этом было очень модно, — Гарин яростно спорил против этого, так же яростно, как, впоследствии, спорил против афоризма Э. Бернштейна: «Конечная цель — ничто, движение — всё».

— Это — декадентщина! — кричал он. — На земном шаре нельзя построить бесконечной дороги.

Марксов план реорганизации мира восхищал его своей широтой, будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу, исполняемую всей массой человечества, освобожденного от крепких пут классовой государственности.

Он был по натуре поэт, это чувствовалось каждый раз, когда он говорил о том, что любит, во что верит. Но он был поэтом труда, человеком с определенным уклоном к практике, к делу. Нередко приходилось слышать от него чрезвычайно оригинальные и смелые утверждения. Так, например, он был уверен, что сифилис следует лечить прививкой тифа, и утверждал, что ему известен не один случай, когда сифилитики излечивались, переболев тифом. Он даже написал об этом: именно так излечился один из героев его книги «Студенты». Тут он едва ли не оказался пророком, ибо прогрессивный паралич уже начинают лечить прививкой плазмодия лихорадки и ученые медики всё более часто говорят о возможности «паратерапии».

Любил Гарин говорить о «паразитоводстве», но, кажется, тогда уже был найден и применялся в Соединенных Штатах паразит, убивающий картофельного жучка.

Вообще Н. Г. был разносторонне, по-русски даровит и по-русски же разбрасывался во все стороны. Однако всегда было удивительно интересно слушать его речи о предохранении ботвы корнеплодов от вредителей, о способах борьбы с гниением шпал, о баббите, автоматических тормозах, — обо всем он говорил увлекательно.

Савва Мамонтов, строитель Северной дороги, будучи на Капри уже после смерти Н. Г., вспомнил о нем такими словами:

— Талантлив был, во все стороны талантлив! Даже инженерскую тужурку свою талантливо носил.

А Мамонтов хорошо чувствовал талантливых людей, всю жизнь прожил среди них, многих таких, как Федор Шаляпин, Врубель, Виктор Васнецов, — и не только этих, — поставил на ноги, да и сам был исключительно, завидно даровит.

Возвратясь из Маньчжурии и Кореи, Гарин был приглашен в Аничков дворец к вдовствующей царице, Николай Второй пожелал выслушать его рассказ о путешествии.

— Это провинциалы! — недоуменно пожимая плечами, говорил Гарин после приема во дворце.

И рассказал о своем визите приблизительно так:

— Не скрою: я шел к ним очень подтянувшись и даже несколько робея. Личное знакомство с царем ста тридцати миллионов народа — это не совсем обыкновенное знакомство. Невольно думалось: такой человек должен что-то значить, должен импонировать. И вдруг: сидит симпатичный пехотный офицер, курит, мило улыбается, изредка ставит вопросы, но всё не о том, что

должно бы интересовать царя, в царствование которого построен действительно великий Сибирский путь и Россия выезжает на берега Тихого океана, где ее встречают вовсе не друзья и — не радостно. Может быть, я рассуждаю наивно, царь не должен беседовать о таких вопросах с маленьким человеком? Но тогда — зачем же звать его к себе? А если позвал, то умей отнестись серьезно и не спрашивай: любят ли нас корейцы? Что ответишь? Я тоже спросил и неудачно: «Вы кого подразумеваете?» Забыл, что меня предупредили: спрашивать я не могу, должен только отвечать. Но ведь как же не спросить, если сам он спрашивает и скупо и глупо, а дамы — молчат? Старая царица удивленно поднимает то одну, то другую бровь. Молодая, рядом с ней, точно компаньонка, сидит в застывшей позе, глаза каменные, лицо — обиженное. Внешне она напомнила мне одну девицу, которая, прожив до тридцати четырех лет, обиделась на природу за то, что природа навязала женщине обязанность родить детей. А — ни детей, ни даже простенького романа у девицы не было. И сходство царицы с нею тоже как-то мешало, стесняло меня. В общем, было очень скучно.

Он и рассказал все это очень торопливо и точно досадуя, что приходится рассказывать неинтересное.

Через несколько дней его официально известили, что царь дал ему орден, кажется, Владимира, но ордена он не получил, потому что вскоре был административно выслан из Петербурга за то, что вместе с другими литераторами подписал протест против избиения студентов и публики, демонстрировавшей у Казанского собора.

Над ним посмеялись:

— Ускользнул орден-то, Николай Георгиевич?

— Черт бы их подрал,— возмущался он,— у меня тут серьезное дело, и вот — надо ехать! Нет, сообразите, как это глупо! Ты нам не нравишься, поэтому не живи и не работай в нашем городе! Но ведь в другом-то городе я останусь таким же, каков есть!

Через несколько минут он говорил уже о необходимости лесонасаждения в Самарской губернии, для того чтоб преградить движение песков с востока.

У него всегда были в голове широкие проекты, и, пожалуй, чаще всего он говорил:

— Надо бороться.

Бороться надобно было с обмелением Волги, популярностью «Биржевых ведомостей» в провинции, с распространением оврагов, вообще — бороться!

— С самодержавием,— подсказал ему рабочий Петров, гапоновец, а Н. Г. весело спросил его:

— Вы недовольны тем, что ваш враг — глуп, хотите поумнее, посильнее?

Слепой Шелгунов, старый революционер, один из первых рабочих-эсдеков, осведомился:

— Это—кто сказал? Хорошо сказал.

Было это в Куоккале, летом 1905 года. Н. Г. Гарин привез мне для передачи Л. Б. Красину в кассу партии 15 или 25 тысяч рублей и попал в компанию очень пеструю, скромно говоря. В одной комнате дачи заседали с П. М. Рутенбергом два еще не разоблаченных провокатора — Евно Азеф и Татаров. В другой — меньшевик Салтыков беседовал с В. Л. Бенуа о передаче транспортной техники «Освобождения» петербургскому комитету и, если не ошибаюсь, при этом присутствовал тоже еще не разоблаченный Доброскок — Николай Золотые Очки. В саду гулял мой сосед по даче пианист Осип Габрилович с И. Е. Репиным; Петров, Шелгунов и Гарин сидели на ступеньках террасы. Гарин, как всегда, торопился, поглядывал на часы и вместе с Шелгуновым поучал неверию Петрова, все еще веровавшего в Гапона. Потом Гарин пришел ко мне в комнату, из которой был выход к воротам дачи.

Мимо нас проследовали к поезду массивный, толстогубый, со свиными глазками Азеф, в темно-синем костюме, дородный, длинноволосый Татаров, похожий на переодетого соборного дьякона, вслед за ними ушли хмурый, сухонький Салтыков, скромный Бенуа. Помню, Рутенберг, подмигнув на своих провокаторов, похвастался мне:

— Наши-то солиднее ваших.

— Сколько у вас бывает народа,— сказал Гарин и вздохнул. — Интересно живете!

— Вам ли завидовать?

— А — что я? Я вот езжу туда-сюда, как будто кучер дьявола, а жизнь проходит, скоро — шестьдесят лет, а что я сделал?

— «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры» — целая эпопея!

— Вы очень любезны,— усмехнулся он. — Но ведь вы знаете, что все эти книжки можно бы и не писать.

— Очевидно — нельзя было не писать.

— Нет, можно. Да и вообще теперь время не для книжек...

Кажется, впервые я видел его усталым и как бы в некотором уныннн, ио это потому, что он был иездоров, его лихораднло.

— Вас, батеиька, скоро посадят, — вдруг сказал ои. — Это мое предчувствне. А меия закопают — тоже предчувствие.

Но через иесколько мииут, за чаем, он снова был самим собой и говорил:

— Счастлнвейшая страна Россия! Сколько иитересной работы в ней, сколько волшебиых возможностей, сложиейших задач! Никогда никому ие завндовал, но завндую людям будущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после иас. Ну-с, до свидания! Я — пошел.

Это было последиее иаше свидаиие. Он так и умер «иа ходу», — участвовал в каком-то заседаиии по литературиым делам, сказал горячую речь, вышел в соседнюю комнату, прилег на диван, и паралнч сердца оборвал жизиь этого талаитливого, неистощимо бодрого человека.

1927 *М. Горький*

ВАРИАНТ

Зима подходила к концу. На одном из участков новостроящейся дороги шли деятельные приготовления к предстоящему весной открытию работ.

Начальник участка Кольцов, уже после окончательных изысканий, закончившихся предыдущим летом, затеял изменить направление линии. Это изменение обещало серьезные сбережения, и Кольцов с двумя молодыми инженерами, проработав всю зиму в поле, напрягал все усилия закончить все работы к предстоящей через две недели сдаче подрядов.

Торопиться нужно было для того, чтобы успеть провести и утвердить вариант до торгов и этим впоследствии избавиться от претензий подрядчиков на тему, что их подвели, что они понесли убытки вследствие уменьшения работ, и результатом таких претензий была бы неизбежная приплата подрядчикам казной 20% сбереженной против подрядов суммы.

Дни в усиленной полевой работе, вечера за вычерчиванием планов и профилей, короткий отдых — в последнее время три-четыре часа в сутки — изнурили и утомили Кольцова и двух его товарищей. Особенно подался Стражинский. Он так похудел, что жена Кольцова говорила, что у Стражинского остались одни глаза. Стражинский за зиму нажил себе страшный ревматизм; в последнее время еще простудился, кашлял и производил крайне ненадежное впечатление. Несмотря на двадцать семь лет, волоса его заметно стали седеть. Его изящная, стройная фигура сгорбилась, красивое лицо осунулось, и только

большие выразительные глаза выиграли,— они то зажигались лихорадочным, раздраженным огнем, то грустно-безнадежно смотрели на окружающих. Спокойный, воспитанный, он теперь едва сдерживал свое беспричинное раздражение.

— Вася, не мучь ты Стражинского,— говорила Кольцову в редкие минуты отдыха его жена,— право, по временам плакать хочется, глядя на него.

— Ну, что же делать,— отвечал Кольцов.— Мне назначено девять человек, из них прислали только двух, а остальных оставили пока при Управлении. Вот скоро кончим, тогда дам ему хоть на месяц отдых. Ведь и я и Татищев так же работаем.

— Ты и Татищев здоровые, а он совсем не вашего поля ягода.

— А я тут при чем,— возражал Кольцов.— Не вводить же казну в миллионные убытки оттого, что Стражинский не на своем месте. Вот скоро кончим, тогда...

И Кольцов опять убегал в контору. Там, в сырой, осенью только отделанной комнате, служившей прежде кладовой, занимались Стражинский, Татищев и Кольцов.

В сыром накуренном воздухе было угарно и тяжело. Стражинский работал молча, напряженно, не отрываясь. Только нервное подергиванье лица выдавало его раздражение.

Татищев работал свободно, без напряжения.

— Экое отвратительное помещение,— ворчал Татищев, водя рейсфедером по бумаге и беспрестанно отбрасывая шнурок пенсне.

— Да, гадость,— согласился Кольцов.

— Гораздо лучше было нанять дом Мурзина,— ворчал опять Татищев.

Немного погодя Татищев опять заговорил:

— Невозможный рейсфедер, линейки порядочной нет. Вот этим рейсфедером я уже второй миллион экономии дочерчиваю. Хоть бы рейсфедер новый.

— Невозможные инструменты! — вставил Стражинский.

— Хоть бы в пикет сыграть,— продолжал Татищев, помолчав.

— Некогда, некогда,— отвечал Кольцов.— Кончим вариант, тогда и будем играть, сколько хотите.

— Никогда мы его не кончим,— отвечал Татищев и вдруг весело, по-детски расхохотался.

— Вы чего? — поднял голову Кольцов.

Татищев продолжал хохотать.

— Мне смешно...

И Татищев опять залился веселым, добродушным смехом.

Кольцов, привыкший к его беспричинному смеху, только рукой махнул, проговорив:

— Ну, завел!

— Что мы никогда не кончим,—докончил Татищев свою фразу и залился новым припадком смеха.

Кольцов и Стражинский не выдержали и тоже рассмеялись.

Татищев кончил наконец смеяться и снова принялся за рейсфедер.

Наступило молчание. Все погрузились в работу.

— А вы помните, Василий Яковлевич, ваше обещание? — начал опять Татищев.

— Какое? — спросил, не отрываясь, Кольцов.

— В отпуск меня пустить.

— Да, пущу,— отвечал Кольцов.

— Как в прошлом году?

— Ведь вы же знаете, что в прошлом году помешал вариант.

— То-то помешал,— самодовольно ответил Татищев.— А как вы еще какой-нибудь вариант выдумаете?

— Нет, уж это последний.

Татищев лукаво посмотрел на Стражинского.

— Да больше времени нет, да и работы скоро начнутся.

Татищев недоверчиво молчал. Стражинский опустил голову на руку и бесцельно уставился в стенку. Изможденное лицо его выражало страдание.

— Что, голова болит? — спросил Кольцов.

— Немножко,— ответил нехотя Стражинский.

— Вам, Станислав Антонович, необходим отпуск,— проговорил Кольцов.

— Ну, уж извините,— загорячился Татищев.— Я больше Станислава Антоновича просидел в этой трущобе.

— Да вы посмотрите на себя и Станислава Антоновича,— отвечал Кольцов.— Вы кровь с молоком, а он совсем высох.

— Я тоже болен,— отвечал Татищев,— у меня горловая чахотка начинается.

Кольцов и Стражинский улыбнулись.

— Смейтесь,— обидчиво отвечал Татищев.— Вы слышите, как я охрип.

— Ну, полно, Павел Михайлович,— махнул рукой Кольцов.

— Вот и полно!

— Я не поеду в отпуск,— сказал Стражинский.— Мои финансы в таком беспорядке, что мне и думать нечего.

Стражинский жил на жалованье 125 рублей в месяц и своих средств не имел. При безалаберной кочевой жизни, при неуменье обращаться с деньгами ему не хватало, и он был весь в долгу. Окончательно его запутал Татищев, богатый человек, любивший хорошо поесть. Он умудрялся тратить на кухню до двухсот рублей в месяц.

— Я решил, знаете, Павел Михайлович,— продолжал Стражинский,— уехать от вас, а то с вами кончу тем, что все у меня продадут за долги.

— Я вовсе не много трачу,— обиделся Татищев,— вот поживите сами и узнаете.

— Ну, господа, пойдем спать,— сказал Кольцов, вставая.— Два часа.

Кольцов ушел наверх. Татищев скоро собрал инструменты и торопил Стражинского.

Стражинский медленно отрывался от работы.

— Скорее,— торопил Татищев.— Оставьте так, кто тут возьмет? Есть хочется, спать хочется. Ну и жизнь!

Стражинский раздраженно молчал, продолжая собирать вещи.

Татищев, одетый в шубу, уселся на табуретку и следил глазами за Стражинским.

— Измучит нас Кольцов,— начал он, помолчав.— Я понимаю, поработать и отдохнуть, но этакая каторга изо дня в день, и из-за чего, спрашивается? Я второй год с ним. На двух линиях наделал вариантов, измучил себя, других, натратил своих уйму денег и в конце концов, кроме неприятностей, до сих пор ничего не получил. Обещал выхлопотать награды.

— Э,— досадливо проговорил Стражинский.— Какая

тут награда! Кто ему ее разрешит? Экономия! Кому нужна эта экономия? Для казны экономия, c'est bien original[1].

Стражинский воспитывался за границей и любил французский язык.

— Ну, положим, это наша обязанность,— отвечал Татищев.— Но ведь всему должна быть мера, а ведь мы живем так, как будто через год нам ничего не надо будет. Истратить все силы в два-три года, а там что ж? Истаскаешься, куда ты тогда денешься?

— И все это за такое жалованье, на которое прожить нельзя,— ответил Стражинский, укладывая последний циркуль.

Он запер коробку, положил ее в стол, постоял несколько секунд, тупо глядя перед собой, потом досадливо махнул рукой и начал одеваться.

— Это жизнь! — продолжал он себе под нос.— Мечтает о премиях, себя и других морочит. Э! все равно! Идем.

— Вот он говорит, на концессионных постройках премии давали, ну, там и можно было работать,— продолжал Татищев, идя с Стражинским по сонным улицам завода, где они жили,— но из-за чего здесь надрываться? Я не понимаю.

Стражинский молчал.

— Васька, скорей ужинать! — кричал Татищев, входя в квартиру.

Сонный Васька побежал на кухню, принес на блюде аппетитный кусок жареной телятины.

— Опять подливки мало,— заметил Татищев, подходя к опрятно накрытому столу.— А закуску почему не поставил? Тебе сколько раз я говорил, чтобы ставил по два стакана к прибору. И белого вина нет. Перчатки не надел. Я тебе сколько раз говорил, что я терпеть не могу, чтобы ты голыми руками подавал. Трогаешь ими бог знает какую гадость, а потом хлеб ими же подаешь.

Когда все было приведено в порядок, Татищев удовлетворенно сел за стол, аккуратно завязал себя салфеткой, снял пенсне и обратился к Стражинскому:

— Станислав Антонович, пожалуйста.

Сонный Васька стоял поодаль с вытянутыми руками в нитяных белых перчатках.

— Платок носовой,— приказал Татищев.

---

[1] это весьма оригинально *(франц.)*.

Васька бросился в другую комнату.

— Да что ты кидаешься, как сумасшедший,— остановил его Павел Михайлович.— Потише не умеешь? Разве ты не понимаешь, что это неприлично.

Через минуту Васька беззвучно подал Татищеву несколько платков.

Татищев взял платок, посмотрел его номер (все его платки были заномерованы), посмотрел номер следующего платка, оставил себе первый по порядку, остальные отдал Ваське, сказав:

— Положи аккуратно на место.

Татищев уже совсем было приготовился к еде, но, взглянув на руки, проговорил:

— Нет, не могу,— потребовал умываться.

Стражинский, раздраженно наблюдавший Татищева, потеряв терпение, сказал:

— O mon Dieu[1], — лег на кровать и закрыл глаза.

С четверть часа фыркал Татищев в соседней комнате. Слышались его возгласы:

— Лей сюда, ниже, ниже... Экий ты, Васька, бестолковый!

Наконец, умывшись, с расчесанной бородой, в чистой ночной рубахе и туфлях, Татищев окончательно уселся за стол. Он опять завязал салфетку, опять пригласил Стражинского и приступил к нарезыванию телятины. Это было целое священнодействие. Телятина тонкими ломтиками, пластинка за пластинкой, ложилась одна на другую. Широкая белая рука Павла Михайловича красиво водила большой нож, другая держала громадную вилку, воткнутую в телятину. Вся его сосредоточенная фигура говорила:

— Да вот, подите-ка, нарежьте так аккуратно. Это вовсе не так просто, как кажется. Тут все нужно рассчитать, чтобы вышла такая ровная пластинка. И нож надо именно вот так держать, и вилку на известном расстоянии. Вот теперь надо вынуть ее — поставить дальше.— И Татищев, вынув вилку, воткнул ее в другом месте.

И опять все его лицо говорило:

— Именно вот в этом месте. Теперь опять пойдут правильные ломтики.

И ломтики действительно пошли один правильнее другого.

[1] О боже *(франц.)*.

— Ну, довольно,— досадливо проговорил Стражинский, раздраженно наблюдая Татищева.

— Теперь, пожалуй, и довольно,— согласился Татищев, когда половина блюда покрылась изрезанными ломтиками.

— Кто это съест? — заметил Стражинский.

— Не беспокойтесь, съем,— обидчиво заметил Павел Михайлович.

Ужин начался. Стражинский ел без всякого аппетита. Съев ломтик телятины, он потребовал себе стакан молока.

Павел Михайлович только головой соболезнующе покачал, аппетитно уплетая кусок за куском.

— Извините,— проговорил Стражинский, кончив свой стакан молока,— я встану, я так устал.

— А чайку? — встрепенулся Павел Михайлович.— Неужели не выпьете стаканчика горячего в кровати? Покамест вы будете раздеваться, чай будет готов. Васька, живо чаю!

Добродушное настроение Татищева подействовало наконец и на Стражинского.

Он с наслаждением вытягивался в кровати, говоря:

— Ох, как я устал! Мне каждый раз кажется, как я ложусь, что я уж не в силах буду никогда встать.

— Да, это безобразие,— согласился Павел Михайлович, оканчивая свой ужин и запивая стаканом вина.

Татищев, окончив ужин, быстро разделся и бросился в кровать. Через пять минут легкий посвист известил Стражинского, что Татищев благополучно прибыл в царство Морфея.

Стражинский долго еще ворочался на постели. Он с завистью и раздражением прислушивался к свисту Татищева. Несколько раз он то тушил, то зажигал свечку, отыскивая кусавших его клопов. Его ноги ныли от ревматизма, он то вытягивал их, то подбирал под себя, напрасно отыскивая положение, при котором боль не была бы так чувствительна. Тяжелые мысли бродили в его голове. Полученное письмо из дому вызвало целый ряд неприятных воспоминаний. Дела по имению у матери, некогда очень богатой, были в страшном расстройстве; второй брат, гимназист шестого класса, заболел скоротечной чахоткой, младший, двенадцатилетний мальчик, и в этом году не попал в гимназию. «Ты одна моя радость и надежда»,— заканчивала его мать свое письмо. Стражин-

ский горько усмехнулся при мысли, если бы увидела она, что осталось от этой «радости».

Наконец и над ним сжалился сон, хотя не крепкий, тревожный, заставлявший его постоянно вздрагивать и просыпаться.

На другой день, около восьми часов, когда уже порядочно рассвело, Кольцов с Татищевым и Стражинским взбирались по крутому откосу реки в том месте, где накануне остановилась их работа.

Кольцов первый взошел наверх и, в ожидании товарищей, осматривал местность. В этом месте река делала такой острый заворот, что приходилось пересекать ее на протяжении 50 сажен два раза, вследствие чего получалось два громадных моста.

Вдруг у Кольцова мелькнула мысль, от которой ему сделалось и холодно и жарко.

«Что, если обойтись без мостов и речку отвести туннелью под этой горой? — Мурашки пробежали у него по спине.— Что это, не схожу ли я с ума? Здравая или сумасшедшая это мысль? — Кольцов снял шапку и провел рукой по горячему лбу.— Надо спокойно обдумать»,— решил он и стал шагами мерять длину горы. Длина туннеля получалась около тридцати сажен, считая по две тысячи пог. саж., выходило всего шестьдесят тысяч, тогда как десять саж. высоты моста стоили до 250 т. р. Кольцов радостно обернулся к товарищам.

— Господа! — крикнул он им возбужденным голосом.

— Новый вариант,— с отчаянием проговорил Стражинский Татищеву. Оба уже давно подозрительно наблюдали взволнованные движения Кольцова.

— Знаете,— кричал им навстречу Кольцов,— мы без мостов здесь пройдем.

— Il finira par devenir fou[1], — сказал себе под нос Стражинский.

Сообщение Кольцова было выслушано недоверчиво, но, когда он подтвердил его, Стражинский и Татищев не нашли возражений.

— Только когда же мы все это сделаем? — спросил Татищев.

— Я сам это сделаю. Вы пробивайте намеченную по

[1] Он кончит тем, что сойдет с ума *(франц.)*.

плану линию, а я сейчас назначу магистраль и разобью профиля. Булавин,— обратился он к десятнику,— ты будешь их ватерпасить, и если завтра к вечеру кончишь, десять рублей награды.

— Будет готово,— отвечал весело Булавин.

Работа была тяжелая. В глубоком снегу вязли ноги.

К обеду Кольцов кончил свою работу и нагнал товарищей.

— Не пора ли закусить? — спросил он Татищева.

— Давно пора,— ответил Павел Михайлович.

Под деревом был разведен костер, для которого рабочие натаскали сухого хвороста; установили два камня — род очага, поставили на них чайник и стали разворачивать провизию. Хлеб замерз, говядина, пирожки тоже, пришлось все, кроме водки, отогревать. Всем этим заведовал аккуратно и не спеша Татищев.

Зная, что нарушение установленной дисциплины испортит расположение духа Татищева, Кольцов и Стражинский терпеливо ждали конца. Когда наконец все было установлено на чистой скатерти, Татищев любезно пригласил Кольцова и Стражинского завтракать.

— К вечеру кончите обход Герасимова утеса? — спросил Кольцов.

— Я думаю,— отвечал Стражинский.— Только выемка немножко будет больше, чем получилась по горизонталям. Шельма Лука наврал, верно, в профилях.

— Какая досада, что нельзя завернуться радиусом в сто пятьдесят сажен, вместо двухсот; вся бы почти выемка исчезла,— заметил Кольцов.

— Да, тогда почти вся исчезла бы,— согласился Стражинский.

— Ведь это 12 тысяч кубов скалы по 11 рублей = = 132 тысячи рублей. Какая это рутина — радиус! При соответственном уклоне ведь не прибавляется сопротивления от более крутого радиуса.

— За границей на главных путях давно введен радиус даже в сто сажен, только там вагоны на тележках,— вставил Стражинский.

— А что мешает у нас их устраивать? — ответил Кольцов.— Ведь вы понимаете, какую экономию дал бы такой радиус в нашей горной местности?

— Громадную.

— На всю линию несколько миллионов,— ответил Кольцов.

Наступило молчание.

— Черт возьми,— заговорил Кольцов,— давайте, знаете, сделаем обход Герасимова на радиус двести и сто пятьдесят,— чем черт не шутит, может быть, и разрешат? А?

Татищев и Стражинский успели уже переглянуться, и последний тихо пробурчал:

— Поехал!

— Никогда не кончим,— проговорил Татищев, заливаясь смехом и опрокидываясь на снег.

Кольцов сконфузился и покраснел.

— Странный вы человек, Павел Михайлович, ведь интересно же сделать так дело, чтобы не стыдно было на него посмотреть. Ведь обидно же даром бросать сотни тысяч. Вы представьте себе, куда мы с вами денемся, когда дорога будет выстроена, и кому-нибудь из комиссии придет мысль в голову об радиусе сто пятьдесят? Ведь тогда это будет, как на ладони.

— Да я ничего не возражаю против этого,— отвечал Павел Михайлович,— я вполне всему сочувствую, но где же время, ведь вы хотите поспеть к торгам?

— И поспею,— ответил Кольцов.— Тут ведь на день всего работы.

— Здесь на день, там на день, где ж этих дней набрать? — раздраженно ответил Татищев.

— Ну, я сам это сделаю,— огорченно сказал Кольцов.

— Да я не к тому,— начал было Татищев, но Стражинский перебил его:

— Положим, мы как-нибудь успеем, но только, по правде сказать, мало веры, чтобы из всего этого вышел толк. Ведь это значит переменить технические условия, когда они утверждены начальником работ Временного управления, министром. Пропасть работы вышло бы, начиная от нас.

— Но ведь это все пустяки, тут о сотнях тысяч идет речь.

— Ну да, но когда их никто признавать не хочет.

— Но они существуют. Что нам за дело до других, лишь бы мы исполняли то, что должны.

— Ну да, конечно,— согласился Стражинский.—

Я только хочу сказать, что можно какое хотите пары держать, что радиус сто пятьдесят не пройдет.

— Надежд, конечно, мало,— согласился Кольцов.

— Вот если б это было возле станции, где поневоле скорость должна быть меньшая.

— А ведь это идея, почему бы нам не расположить станцию вообще в той луке?

Кольцов схватил профиль и стал внимательно ее рассматривать.

— Станция поместится,—проговорил он.— Поздравляю вас, м-сье, ваша идея блестящая.

Стражинский покраснел от удовольствия.

— Но ведь тогда расстояние между станциями не выйдет, близко слишком будет.

— А мы одну уничтожим — еще экономия,— быстро ответил Кольцов.— Нет, положительно, сегодня, господа, у вас гениальные мысли.

У Татищева остановилось в горле замечание, что это опять новая работа.

— А обратили вы внимание, Василий Яковлевич,— заговорил Стражинский,— что при радиусе сто пятьдесят линия залезет в реку, что скажет на это завод?

— Какое мне дело до завода?

— Как какое дело? Они по этой реке спускают баржи, они говорят уже теперь о том, что камни, которые будут падать в воду из выемок, должны быть вынуты, а если вся линия пойдет по реке, я не знаю, что они скажут.

— Ничего они не посмеют сказать,— больше в утешение себе сказал Кольцов и задумался.

— Ох, уж этот мне завод, наделает он нам беды. Все, кроме воздуха, им принадлежит. Несчастный человек будет подрядчик!

— Они его разорят,— сказал Стражинский.

— А знаете, что мне пришло в голову? — сказал Татищев.— Что, если их самих затянуть в подряд? — И Татищев лукаво-добродушно подмигнул.

Кольцов широко раскрыл глаза.

— Павел Михайлович, голубчик, да вы гениальный человек! — закричал он.— Ведь эта идея такая же блестящая, как и со станцией!

Татищев добродушно-весело смеялся.

— Ах, черт побери,— заволновался Кольцов.— В воскресенье же иду к управляющему уговаривать.

— Не согласится,— сказал Стражинский.

— Отчего не согласится? — сказал Татищев.

Кольцов, по свойству своей натуры, весь отдался новой идее затянуть завод в подряд. Вопрос действительно был серьезный: на десятки и сотни верст во все стороны от линии тянулась земля крупного заводчика. Земля, вода, лес, камень, песок — все было монополией владельца. Уже при постройке временной больницы Кольцов видел, как разыгрывается аппетит завода. За лес была назначена цена дороже городской. Только случаем Кольцову удалось дешево отделаться: он купил готовый дом, а для пристроек запасся за дешевую цену несколькими срубами у местных крестьян. Заводское управление на такой прием Кольцова ответило приказом к местному населению, по которому жителям строго-настрого воспрещалось продавать лес агентам железной дороги, под страхом навсегда лишиться права приобретать его по уменьшенным ценам из заводских дач.

Предстоящие работы и в других отношениях ставили строителей в зависимость от заводов. С утверждением нового варианта Кольцова, когда приходилось бы работать в воде, завод, по желанию, мог бы нанести неисчислимые убытки одним тем, что не вовремя стал бы выпускать излишнюю воду из своих прудов. Претензии на захват реки тоже могли легко повлиять на неутверждение нового варианта. Казна ничего так не боится, как возможности дать повод вчинать иски, зная по горькому опыту, чем они кончаются. Наконец еще одно обстоятельство побуждало Кольцова горячо желать участия заводов в подряде. Администрация заводов состояла, по преимуществу, из горных инженеров. Все они в большинстве были поляки по происхождению, но, если можно так выразиться, примиренные, не чуждались общения с русскими, отличались гостеприимством и радушием, но по свойству всех людей имели склонность заниматься чужими делами. Кольцова осаждали вопросами о направлении линии: почему там, почему не здесь, почему такая цена, а не такая. Как это всегда бывает, они не так искали положительной стороны дела, как отрицательной. Объяснения Кольцова их мало удовлетворяли, они смотрели на него, как на человека, заинтересованного умышленно утаивать истину, и старались

сами найти ответ на неясные для них вопросы. Почва, таким образом, была из таких, на которой легче всего вырастают всякие нелепые и несправедливые слухи. Кольцов чувствовал, что, перервись он пополам, ему не поверят и все объяснят по-своему. Единственная возможность заставить их правильно посмотреть на дело заключалась, таким образом, только в том, чтобы их самих втянуть в это дело, поставить их в такое положение, чтоб у них волей-неволей раскрылись глаза на истину.

«Ах, если б мне удалось этих вольных критиков запрячь, заставить их на своей спине убедиться в том, что все гадости, в которых они считали там инженеров повинными, сидят только в их воображении»,— думал Кольцов, вылезая из саней перед домом главного управляющего заводами (сам владелец в заводе не жил и никогда в жизни в нем не был), горного инженера Пшемыслава Фаддеевича Бжезовского. Бжезовский пользовался большим уважением в горном мире,— он организовал рельсовое производство, прекрасно его поставил, пользовался репутацией даровитого и способного инженера, слыл за прекрасного человека, его дом отличался гостеприимством и радушием. Громадный двухэтажный дом, занимаемый Бжезовским, был настоящий дворец. Прекрасная мебель, масса картин, электрическое освещение, громадные комнаты напоминали собою давно-давно забытую роскошь времен крепостничества. Несколько прекрасных охотничьих собак приветствовали громким лаем появление Кольцова в обширной передней.

Несмотря на несошедший еще снег и холод, отовсюду несся нежный запах свежих цветов. Точно какой-то волшебной силой из царства тьмы и неуютной зимы Кольцов был вдруг перенесен в волшебное царство весны.

На него, жителя юга, пахнуло чем-то далеким и милым. Он с наслаждением вдыхал в себя этот аромат весны, пока лакей снимал с него валенки, доху и сибирскую с ушами шапку.

Не успел он оправиться, как в дверях показались Бжезовский и его жена. Бжезовский, высокий, пожилой господин с окладистой бородой, худощавый, с безукоризненными манерами, приветливо, но с чувством собственного достоинства поздоровался с Кольцовым, проговорил радушно:

— Добро пожаловать.

Жена Бжезовского, маленькая, полная женщина лет сорока, с добрыми чистыми глазами, как у ребенка, ласково поздоровалась с Кольцовым и сейчас же засыпала его вопросами, не озяб ли он, не устал ли, не желает ли умыться, не хочет ли чаю; и когда Кольцов сказал, что чаю хочет, она весело ударила в ладоши и сказала, что они как раз пьют чай.

В большой столовой, за чайным столом, Ольга Андреевна (она была урожденная русская), пока настаивался чай, несколько раз еще переспросила, не хочет ли Кольцов есть. Кольцов уверил, наконец, ее, что сыт. Тогда она перешла к подробным расспросам о жене и детях Кольцова.

— Какой вы недобрый, зачем же Анну Валериевну с собой не привезли?

Кольцов извинился, сказав, что приехал по делу.

— Ого, по делу! — рассмеялся Бжезовский.

В это время вошел плотный высокий господин, помощник Бжезовского, горный инженер Малинский.

— Василий Яковлевич к нам по делу,— обратился к нему Бжезовский.

— О! — произнес Малинский и сел возле налитого для него стакана.

Кольцов начал издалека. Он изложил в коротких словах предстоящую картину постройки, наплыв рабочих, возвышение цен на рабочие руки, на перевозочные средства, указал на затруднения, какие испытает завод от этого, коснулся неизбежных столкновений с подрядчиками и рядчиками.

— Ну, с этими-то господами нам нетрудно будет справиться,— уверенно перебил его Малинский.— Один хороший паводок сразу приведет их в христианскую веру.

— Вещь обоюдоострая,— ответил сдержанно Кольцов.— Людей, имеющих в своем распоряжении несколько тысяч человек, не так легко запугать. Один неосторожно разведенный костер в ваших сосновых лесах наделает всем больше убытков, чем все ваши паводки. Этого, конечно, не будет, как и с вашей стороны не будет умышленного нарушения интересов подрядчиков.

— Конечно,— поспешил согласиться Бжезовский, недовольный, что его пылкий помощник выболтал, видимо, обсуждавшиеся уже между ними соображения будущих отношений.

— Опасная сторона дела та, что подрядчики станут пользоваться вашим населением для своих работ.

— Пусть пользуются,— ответил Малинский,— а мы им откажем в земле, лесе, дровах; у них ничего ведь нет, они все получают от нас при условии работать в заводе, а не хотят — мы им ничего не дадим.

— По-моему, этим вы их не испугаете,— ответил Кольцов.— Они отлично знают, что ваши заводы без них ничего не стоят, и что вам ничего не останется делать, как вновь их принять, когда они явятся к вам.

Бжезовский все время молча слушал Кольцова. Малинский открыл было рот, но Кольцов перебил его:

— При таких условиях единственная возможность не отрывать местное население от заводских работ заключается в том, чтобы сам завод взял на себя подряд! Тогда заводу стоит только не принимать местный элемент на железнодорожную работу, и дело в шляпе.

Глаза Бжезовского сверкнули, но опять приняли спокойное, бесстрастное выражение. Он продолжал молчать, как бы приглашая Кольцова говорить дальше.

— В денежном отношении,— продолжал, помолчав, Кольцов,— дело это тоже представляется крайне выгодным. Если подрядчик пришлый зарабатывает на таком деле барыши, то местный контрагент, имеющий весь даровой материал, заработает, конечно, несравненно больше.

— Положим, этот материал мы можем выгодно продать пришлому контрагенту,— первый раз возразил Бжезовский.

— Не всегда,— ответил Кольцов.— В случае слишком дорогих цен дорога ограничится крайне необходимым, а остальное привезет по временному пути из мест более дешевых.

Бжезовского неприятно передернуло, но это было очень быстрое движение, и он молча поспешил кивнуть головой в знак согласия.

— Размеры подряда,— продолжал Кольцов,— настолько велики, что они стоят того, чтобы таким делом заняться. Ваш годовой оборот, если не ошибаюсь, достигает миллиона, двухлетний подряд даст оборот до двух с половиной миллионов. Барыш от него будет крупным подспорьем для завода, дав ему возможность не только легко перенести кризис, но и заработать на нем. Ввиду того, что дорога только раз строится, казалось бы, не сле-

довало упускать такого удобного случая,— закончил Кольцов свою речь.

Наступило молчание.

Ольга Андреевна, Малинский и Кольцов смотрели на Бжезовского. Последний не торопился с ответом.

После долгой паузы он наконец спросил:

— А как велик может быть барыш?

— Как повести дело. Принимая во внимание ваши условия, я думаю — не менее двадцати пяти процентов со всей суммы.

— Какой оборотный капитал для этого нужен?

— Десять процентов от всего, то есть двести пятьдесят тысяч рублей,— отвечал Кольцов.

— Беда в том, что с этим делом мы мало знакомы,— заметил Бжезовский.

— Это я имел в виду. Вам необходимо пригласить в руководители опытное в этом деле лицо. Я могу указать вам на такого. Это Яков Петрович Нельтон. Он тоже собирается принять участие в подрядах, но сам имеет слишком мало денег и ищет компанионов. Он, между прочим, был представителем компании строителей на пятом участке смежной с вами дороги, которая только что закончилась, и дал своим компанионам до семидесяти процентов на затраченный капитал. Точные сведения вы получите как от его компанионов, так и от начальника работ.

— Надо подумать,— задумчиво проговорил Бжезовский.

Разговор перешел на текущую жизнь.

Кольцов рассказал о новых своих вариантах, о радиусе 150, о замене мостов туннелем. Малинский пришел в ужас, что цена погонной сажени туннели обойдется две тысячи рублей.

— Помилуйте, вся цена такой туннели шестьсот рублей погонная сажень.

— А вот берите подряд,—улыбнулся Кольцов,— и гребите деньги.

— Но что же вы так дорого цените в туннели?

— Я вам укажу только на тот факт, что дешевле двух тысяч рублей ни одна туннель в мире не выстроена,— ответил Кольцов.

— Значит, дело неправильно поставлено,— ответил Малинский.

— Ну вот вам и случай поставить его правильно.

— Как вы работаете туннель?

— Есть несколько способов, но все они сводятся к тому, что пробивается сперва небольшое отверстие, которое называется направляющей штольней, а затем разрабатывается все отверстие.

— А почему сразу не разрабатывается все отверстие?

— Невыгодно, как работа цельной среды. Чем меньше направляющая штольня, тем это выгоднее.

— Конечно, мне трудно возражать, но я познакомлюсь с вопросом и через месяц буду с вами спорить. Какое лучшее сочинение по туннелям?

Кольцов не мог ответить.

— По-русски почти ничего нет, а за границей, наверно, есть.

— Я знаю сочинение Ржиха. Но недавно вышло, кажется в Англии, новое сочинение.

— Вы видели Ржиха? — спросил Малинский.

— Не видал,— ответил Кольцов.

— Если хотите, я вам покажу.

И Малинский повел Кольцова в свою комнату. Он был очень начитанный человек и обладал способностью применять начитанное к делу. В требнике завода и постановке рельсового дела он ввел массу нововведений,— между прочим, бессемеровский способ литья стали прямо из чугуна. Но было и несколько промахов, неизбежных в каждом деле.

Масса книг и журналов лежала на нескольких столах в комнате Малинского. Были тут и немецкие, и французские, и английские, и американские; меньше всех было русских.

Он снял с этажерки две громадных книги и тяжело бросил их на стол.

— Неужели это все об одних туннелях? — спросил Кольцов.— У нас в институте о туннелях читалось ровно две страницы. Только немец может столько написать,— говорил Кольцов, перелистывая книгу.

Малинского неприятно покоробили слова Кольцова.

— Обстоятельно,— нехотя ответил он.

— К сожалению, я не понимаю по-немецки,— сказал Кольцов, закрывая книгу,— а то бы попросил у вас почитать.

— Вы какие журналы выписываете по вашей специальности?

Кольцов покраснел.

— Кроме журнала нашего министерства,— никаких.

Наступило неловкое молчание.

— Наше дело так налажено,— заметил Кольцов,— что вряд ли что-нибудь новое узнаешь, да притом я только французским с грехом пополам владею.

— Может быть, пойдем в столовую? — спросил Малинский.

— Знаете, что мне улыбается в вашем подряде, Василий Яковлевич?—встретила Кольцова Ольга Андреевна.— Я давно на лето мечтаю выстроить себе маленький домик, в котором я могла бы чувствовать, что и я существую, а то в этих громадных комнатах чувствуешь себя такой маленькой. Если бы муж взял подряд, ему пришлось бы выстроить себе какое-нибудь пристанище, вот и я бы к нему пристала.

И она, склонив голову на плечо, своими детскими ласковыми глазами посматривала на мужа.

Бжезовский ласково рассмеялся.

— Ну, уж если она охотится, то вы можете считать, что половину дела сделали,— обратился он к Кольцову.

— Эта сторона меня страшно радует,— и все лицо Бжезовской показывало искреннюю радость.— Если бы вы знали, как я хочу этой тихой простой жизни в маленьких уютных комнатках! — И опять ее чистые глаза заискрились весельем ребенка, которое невольно заставляло всех веселее смотреть на свет божий.

Несмотря на возможный успех, расположение духа Кольцова было испорчено. Разговор с Малинским, необходимость, вынудившая его признаться в незнакомстве с теоретической стороной своего дела, неприятно мучила его. Он поспешил попрощаться с Бжезовским и, условившись свидеться с ним на днях у себя, уехал домой. Всю дорогу он не мог отделаться от тяжелого чувства. Он не мог не признать, что Малинский ловко попал в его слабое место. Кольцов никогда не любил теории и, будучи еще студентом, принадлежал к партии так называемых «облыжных студентов», то есть таких, для которых вся наука сводилась к экзаменам. Выдержал экзамен — и долой весь лишний хлам из головы. В первые годы практической деятельности отсутствие правильной теоретической подготовки мало чувствовалось: во-первых, изучение практической стороны дела требовало немало времени; во-вторых,

и роль была все больше исполнительная. Теперь, через двенадцать лет, Кольцову приходилось выступать уже в такой роли, где требовалось много инициативы, путь открывался для широкого творчества, и на каждом шагу он чувствовал все больше и больше свое слабое место — недостаточную теоретическую подготовку. Та масса новых оригинальных идей, которые сидели в его голове и которые он стремился провести в жизнь, требовала для надлежащей авторитетности научной формы. Кольцов чувствовал, что без этого он никого не убедит, что все отнесутся к его идеям с обидным недоверием.

Он считал, что сегодняшний его разговор с Малинским подрывает его авторитет как человека науки не только в глазах самого Малинского, но и всего кружка горных инженеров, между которыми Малинский признавался авторитетом.

Унылым и подавленным приехал он домой.

— Неудача? — встревоженно встретила его жена.

— Нет, кажется, полная удача,— ответил Кольцов, входя в свой скромный кабинет и опускаясь в кресло.

Жена села возле него и пытливо заглядывала ему в глаза. Кольцов старался избегнуть встречи с ее глазами.

— Воздух спертый,— проговорил Кольцов.

— Квартира сырая, комнаты маленькие. Сегодня у Коки за кроватью на стене я нашла гриб. Меня так беспокоит, как бы эта сырость не отразилась на здоровье детей. Они так побледнели за зиму.

— Надо почаще вентилировать,— заметил Кольцов.

— Каждый день вентилируем,— ответила жена.— Когда бы уж скорее весна началась, стану их по целым дням на воздухе держать.

Кольцов облокотился и задумался.

— Ты не в духе? — помолчав, спросила его жена.

— Так, немножко неприятно,— нехотя ответил Кольцов, решив ничего не говорить жене.

Через полчаса, однако, он уже все ей рассказал.

— Что ж тут такого, что могло тебя так огорчить? — успокаивала его жена.— Во-первых, большая разница между им и тобой: он ведет оседлую жизнь, дела у него сравнительно с тобой почти нет, он, наконец, любит теорию, ты любишь практику. Профессор, может быть, из тебя не выйдет, но ведь ты и не желаешь им быть. Ваш же министр и вовсе не инженер, а все-таки министр.

— Ну, это, положим, не довод. Я не знаю, что нашего министра вывело в люди, но знаю, что, чем дальше, тем больше будут искать во мне причин, которые дали бы оружие моим противникам. Слабая теоретическая подготовка будет мне в жизни громадной помехой.

— Но, если и так, что тебе мешает пополнить пробел: тебе тридцать пять лет — твое время не ушло.

— Вот именно я думал, что когда начнется постройка, время будет посвободнее. Я повторю всю теорию и займусь литературой. Ведь не то, чтоб я ее забыл, а так, забросил. Пристань ко мне с ножом к горлу, я и теперь сумею рассчитать любой мост.

— Миленький мой, я ни капли в этом не сомневаюсь,— ответила жена, обнимая и целуя его.

Кольцов повеселел и начал рассказывать жене, как хорошо у Бжезовских. Как у них пахнет весной, как ему вспомнился юг.

Анна Валериевна — сама южанка — понимала мужа, жалела, что не поехала с ним к Бжезовским.

— Ах, Вася, Вася, чего бы я ни дала, чтоб жить там, на юге,— страстно проговорила она.— Как бы расцвели там Дюся и Кока.

— Что делать! — вздохнул Кольцов. Он встал.

— Неужели заниматься? — спросила испуганно жена.

— Нужно бы, очень нужно, но устал, и мысли в разброде. Пойду только отдам распоряжение на завтра. Не знаешь, Татищев и Стражинский...

— Целый день занимались,— перебила его жена,— и теперь, кажется, в конторе. Отпусти ты их или приходи с ними чай пить. Я буду вас ждать.

— Хорошо,— ответил Кольцов, уходя в контору.

Татищев и Стражинский приготовили Кольцову сюрприз. Он застал их усердно работавшими.

— Господа, вы меня стыдите,— проговорил Кольцов, весело с ними здороваясь.— Бросьте работу, ведь не каторжные же мы в самом деле.

— Скоро конец,— весело проговорил Татищев.— Ну вот, смотрите, кончили мы то место, где хотите туннель делать вместо мостов.

— Уж вычертили? — удивился и обрадовался Кольцов.

— Да, надо же когда-нибудь кончать,— рассмеялся Татищев.

Кольцов растрогался и горячо пожимал руки Татищева

и Стражинского. Он не утерпел, чтоб не прикинуть, как ляжет туннель. Мало-помалу все трое так увлеклись, что и не заметили, как пробило два часа.

Анна Валериевна напрасно несколько раз звала их пить чай.

Горничная каждый раз приносила все тот же стереотипный ответ: «Сейчас». И Анна Валериевна снова посылала разогревать самовар, снова заваривала свежий чай. Горячие ватрушки давно уже простыли, поданный в пятый раз самовар опять стал совершенно холодным; Анна Валериевна с книгой в руках так и заснула на диване в ожидании, когда наконец Кольцов вошел в столовую. Он тихо подошел к жене и поцеловал ее.

— Миленький мой, как ты опоздал,— сказала она, просыпаясь.— А где же Стражинский и Татищев?

— Спать пошли: два часа.

— Два часа? — переспросила Анна Валериевна и замолчала.

Ей стало досадно, что и этот вечер ушел от нее.

— Ты мне ни одного вечера не подарил с тех пор, как я здесь,— тихо проговорила она, и слезы обиды закапали из ее глаз.

Кольцов горячо обнял ее и начал утешать.

— Скоро, скоро уж конец. Тогда опять все вечера твои.

Он рассказал ей, какой сюрприз ему устроили его товарищи, как незаметно они увлеклись проектировкой и как опомнились, когда уже было два часа.

Бжезовский приехал к Кольцову в назначенное время и изъявил свое согласие на участие в подряде. Нужно было торопиться ехать на торги. Кольцов давал ему всякие инструкции.

— Главное, не набирайте большого штата. Если б даже мой вариант и не поспел к торгам, будет строиться все-таки он, а не прежний, поэтому не спешите набирать большую администрацию, так как теперешняя линия на сорок процентов дешевле прежней.

Бжезовский уехал. Окончил и Кольцов свои варианты.

— Что бы вы сказали, Павел Михайлович, если бы я вас командировал с проектами? — спросил он как-то у Татищева.

Татищев покраснел от удовольствия.

— Я с удовольствием,— ответил он.

— Стражинский наотрез отказался ехать в отпуск, а вы принимаете?

— Я с удовольствием,— повторил Татищев.

— А сумеете вы защищать нашу красавицу — новую линию?

— Она не нуждается в защите,— с несвойственной ему горячностью и уверенностью ответил Татищев.

— Очень рад,— ответил Кольцов.— Ваш ответ показывает убежденность, а когда человек убежден, он все сделает.

Татищев приехал в город за два дня до торгов.

Первым делом он явился к начальнику работ.

Его потребовали не в очередь.

В небольшом, скромно меблированном кабинете из угла в угол ходил лет пятидесяти главный инженер Елецкий, среднего роста, хорошо сложенный, с сохранившимися красивыми чертами лица.

Татищев вошел и поклонился.

— Здравствуйте,— медленно проговорил Елецкий, протягивая руку Татищеву.— Что скажете хорошенького?

— Вариант привез,— весело-почтительно ответил Татищев.

Легкая улыбка сбежала с лица Елецкого. На лбу появились складки, и он раздраженным голосом переспросил:

— Вариант? Опять вариант? Да так же нельзя, господа!

Татищев потупился и не нашелся ничего ответить.

Елецкий несколько секунд постоял, сердито махнул рукой и заходил по комнате.

Несколько минут тянулось тяжелое для Татищева молчание. Елецкий забыл о Татищеве и весь погрузился в свои мысли. Татищев слегка кашлянул.

— Извините, пожалуйста,— спохватился Елецкий.— Присядьте.

И он опять зашагал по комнате.

— И все эти варианты — прекрасная вещь, но все в свое время,— заговорил Елецкий успокоенным голосом.— Вы, господа, совершенно забыли о постройке, а мы два года уже делаем изыскания. Мне проходу нет в Петербурге, когда я наконец начну постройку, а я в ответ то и

дело вижу все новые и новые варианты. «Последний?» — спрашивают. «Последний»,— и через три месяца опять совершенно новая линия. Ведь наконец кончится тем, что нас всех прогонят,— остановился он перед Татищевым.

Татищев смущенно ерзал на стуле.

— Когда же конец будет? — наступал на него между тем Елецкий.— Через три месяца вы мне опять привезете новый вариант; когда же мы строить будем, что же я скажу в Петербурге, когда только что приехал оттуда, дав чуть ли не честное слово, что изыскания окончены?

— Два года идут изыскания, а линии нет,— помолчав, продолжал Елецкий.— Варианты, варианты, без конца варианты.

— Живое дело,— робко заметил Татищев,— одно хорошо, другое лучше.

— Но ведь так же без конца может продолжаться,— вспыхнул Елецкий.— Где же конец? Наши изыскания сумасшедших денег стоят.

— Но каждый лишний рубль, истраченный на изыскания, дает тысячные сбережения в деле,— заметил Татищев.

— Так ведь это мы с вами знаем, а подите вы расскажите это в Петербурге, что вам ответят? Ответят, что дороже наших изысканий еще не было.

— Но экономия,— начал было Татищев.

— Да что вы все о своей экономии. Не говорите о вещах, о которых понятия не имеете. Я тридцать лет строю и знаю эту экономию на изысканиях. Дешево, хорошо, пока не начали строить, а чуть началось — и пошла потеха! Там неожиданно оказалась скала вместо глины, там плывун, там приходится вместо простого котлована кессон опускать, смотришь — вместо экономии перерасход. Знаю я эту экономию.

Елецкий зашагал опять по комнате.

— Теперь вы мне за два дня до торгов привозите новый вариант. Мы вот уже месяц сломя голову подготовляем данные, и что ж — теперь опять все сначала? Торги откладывать? Да попробуй я дать об этом телеграмму в Петербург, завтра же меня не будет и никого из вас.

Опять наступило молчание.

— Во всяком случае, и думать нечего рассматривать новый вариант до торгов,— заключил Елецкий, останавливаясь перед Татищевым. Последний поднялся и начал откланиваться.

— До свидания. После торгов я дам знать.

У Татищева вертелось в голове сказать Елецкому, с какой целью Кольцов торопился поспеть до торгов со своими вариантами, но он подумал, что это бесполезно и только вызовет новую бурю.

Татищев вышел в приемную с чувством школьника, хотя и получившего незаслуженную головомойку, но утешенного тем, что пострадал не за себя, а за Кольцова. Мысль, что на три дня он совершенно свободен, привела его в веселое настроение.

Через ряд комнат он направился в техническое отделение проведать товарищей.

В чертежной он столкнулся с начальником технического отделения, пожилым уже инженером, Иваном Осиповичем Залеским.

Залеский слыл за тонкого дипломата, но, в сущности, был добрый человек. Девиз его по службе был: «Моя хата с краю, ничего не знаю».

— Павел Михайлович,— радушно поздоровался Залеский с Татищевым.— Сколько лет, сколько зим... Что Кольцов?

— Ничего, вариант прислал, кланяется.

— Опять? — спросил Залеский и весело рассмеялся.

— Николай Павлович недоволен.

— А вы уж виделись с ним. Недоволен? — встревоженно спросил Залеский и, не дожидаясь, сказал:

— Да, знаете, у него много неприятностей по поводу изысканий. Дорого стоят.

— Но что же делать? — на этот раз смело спросил Татищев.— Ведь это гроши по сравнению с той пользой, какую они приносят.

— Конечно,— согласился Залеский.— Ну, что, надолго к нам?

— В отпуск хочу.

— Может, жениться?

— Куда тут жениться,— махнул рукой Татищев и рассмеялся.

Залеский тоже рассмеялся и пошел в свой кабинет. А Татищев поворотил направо, прошел коридор и очутился в большой комнате.

Там сидело за отдельным столом три инженера.

— Павел Михайлович! — раздались приветствия на разные голоса.

Татищев поспешно здоровался, его широкое лицо сияло добродушием и весельем. Окончив, он сел на табурет и, ни к кому особенно не обращаясь, начал:

— Ну, и вздули меня. «Опять варианты! — говорил он, представляя Елецкого,— вы что же, хотите, чтоб нас совсем вон прогнали?» — и Татищев покатился со смеху. Припадок смеха, по обыкновению, продолжался у Татищева довольно долго. Он умолкал, потом опять начинал.

Бельский, Дубровин и Денисов сначала с недоумением смотрели на него, но кончили тем, что и сами начали смеяться.

— Да будет! — остановился наконец Бельский.— Говорите толком, в чем дело?

— Да вариант привез,— едва мог проговорить Татищев и залился новым смехом.

На этот раз дружный хохот четырех здоровых молодых голосов слился чуть ли не в рев.

Татищев кое-как, наконец, рассказал про вариант и про прием Елецкого.

— Большой вариант? — спросил Бельский.

— Тысяч шестьсот сбережения.

Бельский только свистнул.

— Молодец Кольцов,— горячо сказал Дубровин.

— Молодчина! — подтвердил Денисов.

Бельский, нервный и раздражительный, занимавший должность старшего инженера в техническом отделении, разразился ругательствами:

— А, скоты! Вариант в шестьсот тысяч, и чуть не с площадной бранью встречают. Подлая казенщина!

— Это, батюшка, еще цветочки,— сказал Дубровин.— Попомните меня, кончат тем, что выгонят Кольцова.

— Ну, положим, не посмеют,— задорно ответил Бельский.

— Именно, что не посмеют,— расхохотался Дубровин.

— Понятно, не посмеют,— рассердился Бельский.— Общественное мнение не позволит.

— Ну, еще что? — насмешливо спросил Дубровин.

— Случись что-нибудь подобное, и никто из порядочных не захочет оставаться у них. Вы останетесь?

— Это другой вопрос, батюшка. Не мы там с вами сила. Мы уйдем, другие явятся.

—Не явятся, не то время.

— Да, испугаете вы их,— ответил Дубровин.

Денисов молча слушал и, когда спор кончился, спокойно проговорил:

— Конечно, уйдем, если б прогнали Кольцова, только этого не будет. Елька посердится и примет вариант.

— А я убежден, что не примет,— возразил Дубровин.

— Не примет,— согласился Татищев.

— Примет,— сказал Бельский,— Кольцов настоит. Вариант с вами?

Татищев принес вариант.

Компания начала внимательно его рассматривать. Каждый делал свои замечания, поднялся спор, который чуть было не кончился ссорой между Дубровиным и Бельским.

Помирил их Денисов, выругав обоих.

— Вы, господа, право, как мальчишки, привязываетесь к каждому слову друг друга. В сущности, спор у вас из-за выеденного яйца и общего с вариантом ничего не имеет. Перед вами вариант Кольцова: одобряете его или нет?

— Конечно, одобряем,— ответил Бельский.

— И я одобряю,— с важной физиономией сказал Денисов,— а потому предлагаю послать Кольцову приветственную телеграмму. Согласны?

— Молодец, Васька,— весело сказал Бельский и взъерошил волосы Денисову.

— Без нахальства,— тем же тоном продолжал Денисов.— Я составлю телеграмму. Я беру карандаш, я беру бумагу. Дальше...

Началось совещание. Окончательная телеграмма получилась такого содержания:

«Поздравляем, прекрасный вариант. Да здравствуют даровитые честные инженеры. Желаем успеха и дальнейшего саморазвития».

На последнем слове настоял Дубровин.

— Он поймет,— говорил он,— на что ему намекаем.

Кольцов очень обрадовался телеграмме и несколько раз перечитывал ее.

— Это насчет моей теории они, мошенники, намекают,— добродушно объяснял он своей жене.— Ну, зима пройдет, займусь теорией.

Теперь Кольцов все вечера проводил дома. Жена его повеселела и оживилась.

Кольцов, охладевший было за время работ к детям, теперь опять привязался к ним. По целым часам рассказывал своему трехлетнему сыну все ту же сказку.

Любимым его занятием было отыскивать сходство между собой и сыном. Эти исследования приводили Кольцова не к одним и тем же выводам. Сегодня Кока как две капли воды походил на отца, завтра только нос лопаточкой был в него, а остальное чужое.

— Ну, глаза еще твои,— обращался он к жене,— а остальное чужое.

— На кого ты похож? — спрашивала мать сына.

— На папу,— отвечал мальчик.

— Слышите, неблагодарный. Ваш сын знает больше вас.

— Отличное доказательство. Кока, кто умнее, папа или ты?

— Я.

— Кто умнее, папа или аргамак?

— Аргамак.

— Кого ты больше любишь, папу или аргамака?

— Кока,— перебила его мать,— кого ты больше любишь, аргамака или папу?

— Папу.

У мальчика была страсть к лошадям. Лошадь была для него недосягаемым идеалом, к которому он всеми силами стремился. Бежать, как лошадь, есть, как лошадь. Если он упадет, то стоило ему сказать, что он упал, как лошадь, и, несмотря на боль, он вскочит и весело побежит объявлять всем, что упал, как лошадь.

— Папа, я упал, как лошадь! — кричит он еще из другой комнаты, усердно работая своими маленькими ножками.— Вот так! — и для примера еще раз падает на ноги.

— Глупенький ты мой мальчик,— подхватывал его с полу Кольцов и высоко подымал вверх.

— Я не плакал,— лепетал Кока.— Я мужчина.

Кольцов приходил в восторг и начинал теребить сына.

— Папа,— снисходительно говорил мальчик, стараясь вырваться из рук отца.

— Ну, говори про козла.

Мальчик принимал сосредоточенное выражение лица и начинал медленно, наставительным тоном, декламировать:

— Смотрел козел в воду и говорит: «Какой я козельчик, какая у меня борода и престрашные рога. Если волк придет, я его убью». А волк слушает и говорит: «Что ты, Васька, говоришь?» А Васька говорит: «Я ничего, ваше благородие».

Последнее время постоянный кашель изнурил и раздражил ребенка. Забегается ли слишком, начинается сильный приступ кашля. Мальчик кашляет, кашляет и вдруг тихо и горько заплачет. Столько бессилия и страдания, столько горя слышалось в этом маленьком плаче, что жена Кольцова сама начинала плакать, а Кольцов готов был все на свете отдать, чтобы только облегчить его страдания.

— Уход плохой,— приставал он к своей жене.— Я не знаю, чего нельзя на свете сделать, если захочешь. Растирай его, парным молоком пой, давай малинку, пригласи еще из города доктора,—вот что надо делать, а не плакать.

Кольцов горячился, приставал к няньке и, по своему обыкновению, чем больше горячился, тем больше был неправ. Делалось, что можно было делать, но средства были бессильны. Доктор, впрочем, успокаивал и говорил, что с весной все пройдет... Понятно, с каким нетерпением ожидалась весна в доме Кольцова. Прошла неделя со дня получения телеграммы Бельского и товарищей. Кольцов поехал на линию проверить разбивки. Уже совсем стемнело, когда, уложив инструменты, он поехал домой. Дорога шла по реке. Зима подходила к концу, но лед был еще крепкий. Всплыла луна и мало-помалу залила своим волшебным светом округу. Силуэты оборванных скал сплошной стеной тянулись по обеим сторонам реки. Прежняя линия, вследствие обманчивого света луны, казалась где-то в недосягаемой высоте; новая, пользуясь естественными уступами, шла невдалеке от саней. Кольцов с гордостью любовался делом своих рук.

«Та, прежняя,— думал он,— как ведьма, скачет там где-то в небе с утеса на утес. Я разыскал мою красавицу в этой бездне скал и утесов, вырвал ее у природы, как Руслан вырвал у Черномора свою Людмилу».

И фантазия перенесла Кольцова в далекое прошлое.

«Сюда приходили,— думал он,— наши предки искать себе славы. Только в таких местах, под впечатлением этой дикой природы, могли сложиться наши чудные сказки, только здесь могла появиться та дикая, непреклонная воля, какою одарил народ своих героев. Здесь пролагали себе путь в панцирях и шлемах богатыри русской земли. Здесь прошли орлы Всеволода III, здесь Ермак нечеловеческими усилиями проложил себе путь к славе. Прошли века, и вот мы пришли докончить великое дело. Проведением дороги мы эти необъятные края сделали реальным

достоянием русской земли. Это будет второе завоевание края. И, как Ермак некогда с ничтожными силами приобрел его, так и мы должны употребить все силы, чтоб уменьшить стоимость постройки дороги. Нельзя строить дорого, у нас нет средств на такие дороги, а нам они необходимы как воздух, как вода. Восток гибнет оттого, что не имеет дорог. Общество право в своем раздражении на нас, инженеров. Оно не выяснило себе еще причины, ищет ее там, где ее нет, но история выяснит именно причины в нашем неуменье дешево строить. Мы как заимствовали тридцать лет тому назад способ постройки у наших дорогих соседей, так при нем и остались. Разве наша бедная русская жизнь может сравниться с богатой западной? Если бы русский изобрел железные дороги, а не Стефенсон, разве дошли бы мы до той роскоши, какая царит на наших дорогах? И что бы его могло вдохновить на бархат, зеркала, дворцы-будки, дворцы-вокзалы? Наши перекладные? Наши бывшие почтовые станции, наши нищие деревни? Наши грязные города с гостиницами-клоповниками? Именно здесь, когда мы приступаем к этому великому пути, когда все окружающее, вся история должна напоминать нам, что мы — русские,— мы, инженеры, обязаны поставить на совершенно новую почву постройку дороги, мы должны показать Западу, что мы, русские инженеры, способны не только воспринимать его великие идеи, но и культивировать их в условиях русской жизни. А это, в свою очередь, покажет на достаточную подготовку к самостоятельному творчеству. И, как некогда Ермак искупил свою и товарищей своих вину, так и мы, инженеры, дешевой постройкой должны искупить нашу невольную вину перед родиной...»

Кольцову стало жарко. Он снял шапку и провел рукой по лбу. Его глаза горели и усиленно смотрели вдаль. Он точно видел себя лицом к лицу со всеми обитателями своей необъятной родины.

«Да, нет выше счастья, как работать на славу своей отчизны и сознавать, что работой этой приносишь не воображаемую, а действительную пользу. Это — жизнь, это напряжение. Пусть проходит молодость с ее радостями любви; что жалеть о них, когда радости эти сменяются более высшими наслаждениями, сознанием приносимой пользы, сознанием, что заслужил право на жизнь!»

Мысль, что заслуг инженера путей сообщения в об-

ществе не признают, неприятным диссонансом пронеслась в его голове. Но, по свойству своей оптимистической натуры, Кольцов подавил в себе неприятное чувство, рассуждая, что заслуга останется заслугой, а как непризнанная, она имеет двойную цену.

Да, если б удалось провести в жизнь все задуманное. Но как провести? Где найти то ухо, которое захотело бы услышать истину? Одни погрязли в рутине, другие преследуют корыстные цели, третьи устарели, четвертые просто ничего не понимают. Что толку, что Бельский, Дубровин, Денисов — сторонники взглядов Кольцова? Не в них пока сила. Как обратить внимание тех, от которых зависит решение вопроса?

«Время не ушло еще,— думал дальше Кольцов.— Я один ничего не сделаю. Вот разве в компании с Бельским, Дубровиным, Денисовым составить докладную записку на имя начальника работ о возможных сокращениях расходов при постройке нашей линии? Если эта записка опоздает для нашего участка, то время не ушло для других. Экая досада, что раньше не пришло в голову. Что делать? Лучше поздно, чем никогда. Надо будет разбить эти вопросы по главной расценочной ведомости. Я предложу каждому из них взять по две главы и разработать все и с практической и с теоретической стороны, а сам займусь составлением общей записки. Не примут — мы будем спокойны, что свое дело сделали, а если примут...»

И горячая фантазия Кольцова унесла его в такую заоблачную даль, что нам с вами, читатель, следовать за ним не стоит.

Дома Кольцова ожидал весьма неприятный сюрприз, который сразу спустил его на землю.

— Миленький мой,— встретила его жена.— Придется вам мечты ваши о славе на время отложить,— она точно подслушала Кольцова,— вот телеграмма Татищева. Вариант не принят.

Телеграмма была следующего содержания:

«Вариант окончательно забракован. О радиусе 150 и туннели слушать даже не хотят».

Для Кольцова это было полным сюрпризом.

— А, черт с ними! — проговорил он упавшим голосом.

Он сел в кресло и уныло замолчал.

— И Татищев тоже хорош. Телеграфирует, точно его зарезали. Пойдут теперь сплетни по заводу.

— Что же делать? — утешала его жена.— Ты, что мог, сделал, там уже не твое...

— А, черт с ними! — еще раз апатично проговорил Кольцов.

Он встал, несколько раз прошелся и, скороговоркой проговорив: «Я спать пойду»,— ушел в спальню.

На вопрос жены:

— А обедать?

Он, уходя, принужденно ответил:

— Нет.

Жена Кольцова знала натуру своего мужа. Всякое серьезное огорчение вызывало в нем полный упадок сил и потребность продолжительного сна.

Не знавший усталости, Кольцов, раздеваясь, почувствовал себя таким усталым, таким разбитым, что едва мог стащить свои тяжелые сапоги. Он почти мгновенно заснул и едва слышал, как жена, наклонившись над ним, поцеловала его, прошептав:

— Не огорчайся, мое счастье, все, бог даст, будет хорошо.

«Хорошо»,— машинально пронеслось в его голове. «Действительно хорошо»,— промелькнуло в последний раз в засыпающем мозгу — и чувство сладкого успокоения разлилось по его членам. В то же мгновение крепкий, здоровый сон без сновидений сковал Кольцова. Он проснулся только на другой день, проспав четырнадцать часов.

Мысль о варианте только в первый момент неприятно кольнула его.

«Надо самому ехать»,— думал он, поспешно одеваясь.

Жена, услышав шум в спальне, вбежала с телеграммой в руках.

— От Елецкого,— проговорила она, целуя мужа.

Кольцов жадно схватил телеграмму:

«Из ваших вариантов останавливаюсь на линии прошлого лета. О радиусе и туннели при теперешних условиях не может быть и речи».

Вежливый тон телеграммы успокоил Кольцова.

— Ну, вот это ответ. По крайней мере никакой пищи нет досужим сплетникам. Ясно, что в одном и том же месте двух линий сразу нельзя выбрать, а так как обе мои, то ничего и обидного нет. За эту деликатность я ужасно люблю Елецкого,— говорил Кольцов повеселевшим тоном.

Жена Кольцова тоже просияла, увидев, какое действие произвела телеграмма на мужа.

За чаем Кольцов сказал ей, что решил сам ехать.

— Без разрешения? — спросила, испугавшись, жена.

Кольцов не ответил, так как и сам не знал, как быть. С одной стороны, нужно было торопиться, а разрешение затягивало отъезд, да и сомнительна была возможность его получения в данный момент, с другой — ехать без разрешения было невежливо и, пожалуй, рискованно.

— Могу испортить все дело. Он сам такой деликатный и терпеть не может неделикатности в других.

Решено было так. Кольцов телеграфировал Бельскому, чтоб тот действовал в смысле вызова его, Кольцова, для личных объяснений. Елецкому Кольцов послал телеграмму в двести пятьдесят слов. Тон телеграммы мало было бы назвать горячим, страстные доводы Кольцов закончил следующими словами: «Прошу извинить за настойчивость, но необходимость варианта настолько очевидна, что не может пройти незаметно. Во избежание справедливых нареканий в будущем, вынужден беспокоить вас просьбой разрешить лично приехать».

К вечеру Кольцов получил следующий ответ:

«Ваша телеграмма не переменила моего решения. Если считаете необходимым, приезжайте».

Кольцов выехал в ночь.

Оставлял он семью с тяжелым чувством. Кашель у Коки становился все сильнее. В самый момент выезда сильный припадок так ослабил мальчика, что он весь посинел и впал в легкий обморок. Такого припадка еще не было.

Тяжелое предчувствие недоброго конца этой болезни первый раз закралось в душу Кольцова. Всем существом рвануло его к сыну, он забыл все на свете, схватил его на руки, прильнул к его исхудалому личику, и горькие слезы полились из глаз. Прощанье было подавляющее и тяжелое. Никогда еще Кольцов не оставлял семью с таким угнетенным чувством тоски и сознания своего бессилия что-нибудь изменить из предназначенного судьбой. Первый раз после долгих лет рука его поднялась, чтоб осенить своего маленького сына крестом.

— Да хранит тебя господь! — с глубоким чувством проговорил он.

Кольцов остановился в квартире Бельского, Дубровина и Денисова.

Компания рассказала ему, что «Елька» страшно взбешен и против варианта. На торгах линия осталась за Бжезовским, и распорядителем работ был приглашен Делори. Последний тоже высказался против варианта, указывая на слабую его сторону—захват реки, и немало содействовал тому, что вариант Кольцова был забракован.

— Послушайте, Кольцов,— говорил ему Бельский на другой день, идя вместе в Управление,— главное, не горячитесь. Помните, что с Елькой можно работать, он человек честный и действует по убеждению. Доказать ему всегда можно, но это надо сделать спокойно, рассудительно и толково. И вы это можете, если захотите. Смешно же, в самом деле, всю жизнь изображать из себя лошадь, которой чуть попадет вожжа под хвост — и пошла потеха. Вспомните только, что, двенадцать лет работая, вы еще ни одного дела не довели путно до конца. Начнете блистательно, потом по поводу выеденного яйца появляется на сцену вопрос о доверии, и — Кольцов за бортом. А кончается тем, что все сыграется в руку прохвостам. У вас дело правое, и стойте за него до смерти,— пусть вас по суду гонят, если хотят, но с какой же благодати губить дело из-за личного самолюбия?

— Правда есть в ваших словах,— отвечал Кольцов.— Личного болезненного самолюбия у меня больше, чем надо, но я вам скажу одно. Четыре раза уже я бросал дело и уходил со скандалом. Временно мне были заперты все двери в нашем министерстве, но никогда я не жалел, что поступал так. При тех условиях не было другого выхода. Теперь иное дело. Во всяком случае, я не буду горячиться. Спасибо вам.

— Вас уже прозвали трубадуром, но, если вы из теперешнего положения дела опять сделаете министерский вопрос, я буду называть вас бестолковым трубадуром.

— Не сделаю,— отвечал Кольцов.

В передней правления они расстались. Бельский прошел в техническое отделение налево, Кольцов — в кабинет начальника работ направо.

В ожидании приезда начальника работ Кольцов заглядывал во все комнаты правления, отыскивая знакомых. Все здоровались с ним радушно, но как-то обидно-снисходительно. Все знали про его неудачный вариант, и общее

мнение было, что Кольцов, что называется, зарапортовался.

Выразителем общего мнения был Щеглов, правитель канцелярии.

— Что, батюшка, сорвалось? — встретил он Кольцова.— Ну, что ж делать? Не всякое лыко в строку. Надо вас и осадить немножко, а то этак вы через год и до министра доберетесь.

— Руки коротки для осадки,— строптиво возразил Кольцов.

— Будто коротки? — спросил Щеглов, добродушно подмигивая своему помощнику. И ласково прибавил:

— Ну, ну, ладно, бог с вами. Где вы сегодня вечером?

Пришел швейцар и доложил, что начальник работ приехал и просит Кольцова.

Кольцов вскочил, застегнул пуговицу и, не прощаясь, быстро пошел за швейцаром.

— Будет баталия,— сказал Щеглов, закуривая папироску.— Надо послушать.

И он, собрав для подписи нужные бумаги, неслышной походкой направился к Елецкому.

Когда он вошел в рабочую комнату начальника работ, из кабинета донесся до Щеглова взбешенный, громкий голос Елецкого:

— Да что же это наконец такое. Слова нельзя сказать, как он свою отставку сует.

На этот возглас не замедлил взволнованный ответ Кольцова:

— Вариант необходим. Вопрос в том, что я, может быть, не сумел доказать вам его необходимость, вот почему я должен буду оставить свое место, чтобы уступить его более способному доказать это.

Щеглов постоял несколько мгновений нерешительно, махнул рукой и возвратился в свой кабинет.

Кольцов продолжал:

— Николай Павлович, поверьте мне, что я прекрасно знаю все те неприятности, которые вы испытываете, но чем же виновато дело, что во главе его стоят люди, не понимающие его? И наконец то, что сегодня неясно, будет как на ладони, когда дорога выстроится. Огорчения теперешние будут пустяками в сравнении с теми, которые мы с вами испытаем тогда. Вы говорите, что нас выгонят. Для вас уступка невежеству непринятием моего варианта,

может быть, имеет полный смысл,— вы этим спасаете все дело, но где же утешение для меня? Все мое дело заключается в этом варианте, и мое неумение провести его в жизнь есть уже тяжелое сознание своего бессилия, и неужели же мне, сверх этого, в течение двух лет постройки еще мучиться изо дня в день при мысли, что я строю не то, что должно, и что строится это только благодаря моей неспособности доказать, что белое — белое, а черное — черное. Вот что побуждает меня заявить о своей отставке. Это не взбалмошное чувство оскорбленного самолюбия. Я отлично знаю, что теряю, оставляя службу,— лучше поставленного дела я не видал еще, да и вряд ли где-нибудь найду.

Кольцов замолчал.

Елецкий мрачно ходил по комнате. Молчание длилось несколько минут.

— Кончится тем, что мне самому придется уйти, — проговорил Елецкий, махнув раздраженно рукой.

И, обратившись к Кольцову, сердито спросил:

— Где вариант?

Кольцов быстро развернул чертежи и взволнованно начал излагать идею нового варианта.

Через четыре часа Кольцов вышел из кабинета начальника работ, и по его счастливому лицу нетрудно было угадать, в чем дело.

Елецкий вышел немного спустя и прошел в кабинет своего помощника.

Инженер Стороженко, около пятидесяти лет, плотный, среднего роста, с гладко выбритым лицом, густыми усами, большими выразительными глазами,— производил при первом взгляде впечатление человека слегка грубоватого, но добродушного и прямого. Тем не менее это был дипломат в своем роде, как вообще все хохлы. Будучи безукоризненно честным, он личную инициативу проявлял только в том направлении, о котором знал, что оно будет одобрено. В вопросах сомнительных он, хотя и выражался решительно, но так, что из его слов ничего нельзя было вывести.

Елецкий вошел и сел на диван.

— Что за молодец Кольцов! Три-четыре таких инженера — и можно хоть всю Сибирскую дорогу взяться строить.

— Он приехал?

— Только что от меня.— Елецкий помолчал.— Прекрасный вариант,— сказал он.— Только время упущено. Теперь в Петербурге опять пойдут разговоры.

Наступило молчание.

— Да,— неопределенно проговорил Староженко.

— Семьсот тысяч экономии. Татищев напутал, совсем не так доложил: молодой. Возьму Кольцова с собой — пусть сам сделает доклад. Я там сам не был, ехать некогда, а на заседании могут подняться такие вопросы, на которые может ответить только работавший на месте.

— Конечно.

— Всю зиму работал в поле, Стражинского чуть не в чахотку вогнал.

Староженко кивнул головой. В переводе это означало: «Так и запишем».

— Через неделю надо ехать,— сказал Елецкий, подымаясь.

После ухода Елецкого вошел Залеский.

— Ну, что вариант Кольцова?

— Принят,— ответил Староженко.

— Принят? — переспросил выжидательно Залеский.

— Семьсот тысяч сбережения. Прекрасный вариант. Татищев напутал: молодой.— И, помолчав, прибавил: — Дельный работник Кольцов.

— Ах, какая энергия! — подхватил Залеский.

— Стражинского, кажется, в чахотку вогнал.

— Огонь,— весело рассмеялся Залеский.

В такой редакции и по городу пошла новая волна. Блестящий вариант, неутомимый Кольцов, Татищев напутал, Стражинский в последнем градусе чахотки.

Инженер Косяковский в обществе дам доступным языком излагал положение дела:

— Кольцов сам дельный человек. Сделал действительно прекрасный вариант, но выказал полное неумение выбирать подходящих людей. Татищеву поручил делать доклад. Я понимаю — поручить ему организацию пикника.

Веселый хохот прервал оратора.

— Кольцов — это прелесть,— сказала Марья Павловна Звиницкая.— Я в прошлом году ехала с ним в поезде,

и, право, если бы еще несколько часов поездка продлилась, я за себя не поручилась бы.

Звиницкая покраснела при воспоминании того вечера.

А Кушелев, отец Марьи Павловны, управляющий соседней дорогой, на другой день добродушно говорил Елецкому:

— Придется, Николай Павлович, вам самому подобрать помощников Кольцову, а то он окружит себя такими, как Татищев.

— Да, непременно,— убежденно ответил Елецкий.

— Павла Николаевича надо к нему. Это человек, который сумеет позаботиться об остальном, когда Кольцов, по свойству своей натуры, чем-нибудь увлечется.

Павел Николаевич Звиницкий, муж Марьи Павловны, тоже инженер, был одним из кандидатов на должность начальника дистанции на предстоящую постройку.

Елецкий промолчал на слова Кушелева.

Выбор инженеров de jure[1] зависел от Временного управления, de facto[2] — от начальника работ. По традиции начальнику участка предоставлялось право выбора между имеющимися инженерами.

Павел Николаевич, на другой день после описанного разговора, был у Кольцова и выразил желание служить у него начальником дистанции. Кольцов обещал, так как свободные места у него были. Штат Кольцова состоял из четырех начальников дистанции, одного помощника и одного техника. На роль помощника он имел в виду Татищева, на роль техника — Стражинского, на остальные места еще никого не имел в виду.

— Что, если я буду проситься к вам? — спросил его Бельский.

Кольцов с удивлением посмотрел.

— Неужели пойдете? — радостно спросил он.

— К вам пойду.

— Серьезно говорите?

— Конечно, серьезно.

— Я буду счастлив.

— А меня возьмете? — спросил Дубровин.

— И вы?

---

[1] юридически (*лат.*).
[2] фактически (*лат.*).

— С наслаждением.
— А вы? — обратился он к Денисову.
— Нет, я больной человек, на линию нельзя мне.
Стали строить планы близкого будущего. Выходило очень хорошо.
— Только Елька не пустит,— сказал вдруг Бельский упавшим голосом.
— Почему не пустит? — спросил Кольцов.
— Не пустит,— ответил Бельский.— Соединить нас втроем, что же это выйдет? Все вверх ногами поставим и его не пустим на участок.
— Да как он может не пустить,— возражал Кольцов.— Это мое право выбрать начальников дистанций.
Бельский в тот же день закинул удочку и рассказал свой план Залескому.
При докладе Залеский, между прочим, сказал Елецкому.
— Бельский и Дубровин хотят проситься к Кольцову.
— Дудки! — ответил добродушно Елецкий. — К этакому кипятку, как Кольцов, прибавить двух таких головорезов — они всю линию разнесут. Кольцову не пару подбавлять, а тормоза нужны.
И, помолчав, прибавил:
— Надо с этим кончить. Сегодня вечером приходите, составим списки на участки, и ночью надо их отпечатать. С конченным делом и разговоров не будет, а сегодня мне придется уже дома заниматься, чтобы избавиться от этих просьб... Скажите, что я заболел.
Кольцову так и не удалось в тот день поговорить с Елецким о своем штате, а на другой день в управлении уже был отпечатан приказ начальника работ о назначениях.
Переговоры Кольцова с Елецким на эту тему оборвались на первой фразе Елецкого:
— Я завален просьбами о назначениях. Начальники участков все одних и тех же приглашают, остальных никто не желает. Начальники дистанций почти все к одному просятся, к остальным не желают. Чтобы избавиться от бесконечных просьб, я решил на этот раз изменить способ назначений и сам всех назначил. Так как ваш участок самый трудный, то вам и назначены лучшие силы: Звиницкий, Штомор, Мартино, Колович и ваши прежние Татищев и Стражинский.
— Я хотел было просить о Бельском и Дубровине.

— С кем же я останусь? — вспыхнул Елецкий.

Через неделю Елецкий и Кольцов выехали в Петербург.

Доклад сошел благополучно и, сверх ожидания, был встречен очень милостиво. Радиус 150, излюбленное детище Кольцова, пришелся как нельзя кстати.

В Петербурге в высших служебных сферах уже был возбужден вопрос об уменьшении радиуса.

На сожаление председателя Временного Управления о том, что не употреблен при изысканиях радиус 150, Елецкий с достоинством ответил:

— Я привез вариант с радиусом сто пятьдесят.

Передавая об этом Кольцову, Елецкий сказал:

— Вот и толкуйте с ними. В прошлом году на заседании мое предложение насчет радиуса было единогласно отвергнуто, а в этом году они готовы меня же упрекнуть за то, что я не ввел его!

И, помолчав, пренебрежительно бросил:

— Флюгера!

1888

КЛОТИЛЬДА

I

Я только что кончил тогда и молоденьким саперным офицером уехал в армию.

Это было в последнюю турецкую кампанию.

На мою долю выпал Бургас, где в то время шли энергичные работы по устройству порта, так как эвакуация большей части армии обратно в Россию должна была и была произведена из Бургаса.

Ежедневно являлись новые и новые части войск, некоторое время стояли в ожидании очереди, затем грузились на пароход Добровольного флота и уезжали в Россию.

Эти же пароходы привозили новых на смену старым для предстоящей оккупации Болгарии.

И таким образом Бургас являлся очень оживленным местом с вечным приливом и отливом.

Как в центральный пункт, в Бургас съехались все, кто искал легкой наживы.

Магазины, расторaны процветали.

Процветал кафе-шантан, устроенный в каком-то наскоро сколоченном громадном деревянном сарае.

Первое посещение этого кабака произвело на меня самое удручающее впечатление.

За множеством маленьких столиков в тусклом освещении керосина, в воздухе, до тумана пропитанном напитками, испарениями всех этих грязных тел,— всех этих пришедших с Родопских гор, из-под Шипки, из таких мест, где и баню и негде и некогда было устраивать,— сидели

люди грязные, но счастливые тем, что живые и здоровые, они опять возвращаются домой,— возвращаются одни с наградами, другие с деньгами, может быть, не всегда правильно нажитыми. Последняя копейка ставилась так же ребром, как и первая. Как в начале кампании копейка эта шла без счета, потому что много их было впереди и не виделось конца этому, так теперь спускалось последнее, потому что всегда неожиданный в таких случаях конец создавал тяжелое положение, которому не могли помочь оставшиеся крохи. Для многих в перспективе был запас, а следовательно, и прекращение жалованья и необходимость искания чего-нибудь, чтобы существовать.

Такие пили мрачно, изверившись, зная всему настоящую его цену, но пили.

Пили до потери сознания, ухаживали за певицами до потери всякого стыда.

Было цинично, грубо и отвратительно.

Какой-нибудь армейский офицер, уже пьяный, гремит саблей и кричит: «Человек, garçon» с таким видом и таким голосом, что глупо и стыдно за него становится, а он только самодовольно оглядывается: вот я, дескать, какой молодец. А если слуга не спешит на его зов, то он громче стучит, так что заглушает пение, а иногда дело доходит и до побоев провинившейся прислуги.

Меня в этот кабак затащило мое начальство — еще молодой, лет тридцати, военный инженер И. Н. Бортов.

Побывав, я решил не ходить больше туда.

Да и обстоятельства складывались благоприятно для этого.

В ведение Бортова входили как бургасские работы, так и работы в бухте, которая называлась Чингелес-Искелессе.

Эта бухта была на другой стороне обширного Бургасского залива, по прямому направлению водой верстах в семи от города. Вот в эту бухту я и был назначен на пристанские и шоссейные работы.

Для меня, начинающего, получить такое большое дело было очень почетно, но в то же время и я боялся, что не справлюсь с ним.

На другой день после вечера в кафе-шантане я явился к Бортову за приказаниями и, между прочим, чистосердечно заявил ему, что боюсь, что не справлюсь. Бортов и

сегодня сохранял все тот же вид человека, которому море по колени.

Такой он и есть несомненно, иначе не имел бы и золотой сабли, и Владимира с мечами и бантом, и такой массы орденов, которые прямо не помещались на груди у него.

Не карьерист при этом, конечно, потому что с начальством на ножах,— вернее, ни во что его не ставит и, не стесняясь, ругает. Про одного здешнего важного генерала говорит:

— Дурак и вор...

Это даже халатность, которая меня, начинавшего свою службу офицера, немного озадачивала в смысле дисциплины.

На мои опасения, что не справлюсь, Бортов бросил мне:

— Но... Не боги горшки лепят... Иногда посоветуемся вместе... Пойдет...

— Но отчего же,— спросил я,— и вам, тоже еще молодому, и мне, совершенно неопытному, поручают такие большие дела, а все эти полковники сидят без дела?

— Да что ж тут скрывать,— флегматично, подумав, отвечал Бортов,— дело в том, что во главе инженерного ведомства хотя и стоит З., но он болен и где-то за границей лечится, а всем управляет Э. Он просто не доверяет всем этим полковникам. Даст им шоссе в пятьсот верст и на все шоссе выдает двести золотых... А вот на такое дело, как наше, в миллион франков, ставит вот нас с вами. Считает, что молоды, не успели испортиться.

— И это, конечно, так,— поспешно ответил я.

— Ну, какой молодой — другой молодой, да ранний... Отчетности у нас никакой: не всегда и расписку можно получить. Да и что такое расписка? Братушка все подпишет и читать не станет. Вот вчера я пятьдесят тысяч франков заплатил за лес,— вот расписка.

Бортов вынул из стола кусок грязной бумаги, где под текстом стояли болгарские каракули.

— Он не знает, что я написал, я не знаю, что он: может быть, он написал: собаки вы все.

Бортов рассмеялся каким-то преждевременно-старческим хихиканьем. Что-то очень неприятное было и в этом смехе и в самом Бортове: что-то изжитое, холодное, изверившееся, как у самого Мефистофеля.

Из молодого он сразу превратился в старика: множество мелких морщин, глаза потухшие, замершие на чем-то,

что они только и видели там, где-то вдали. Он напомнил мне вдруг дядю одного моего товарища, старого развратника.

Бортов собрался и опять деловито заговорил:

— Ну-с, вот вам десять тысяч франков на первый раз — и поезжайте.

— А где я буду хранить такую сумму?

— В палатке, в сундуке.

— А украдут?

— Составите расписку,— болгарин подпишет...

Бортов опять рассмеялся, как и в первый раз, заглядывая мне в глаза.

— Расписку не составлю, а пулю пущу себе в лоб,— огорченно ответил я.

— Что ж, и это иногда хорошо,— усмехнулся Бортов.

И уже просто, ласково прибавил:

— А по субботам приезжайте к нам сюда,— в воскресенье ведь нет работ,— и прямо ко мне... вечерком в кафешантан... Я, грешный человек, там каждый день.

— Да ведь там гадость,— тихо сказал я.

— Меньшая,— ответил равнодушно Бортов.— Если вам понравилась моя Берта — пожалуйста, не стесняйтесь... Я ведь с ней только потому, что она выдержала с нами и Хивинский поход.

Берта громадного роста, атлет, шумная немка, которая без церемонии вчера несколько раз, проходя мимо Бортова, садилась ему с размаху на колени, обнимала его и комично кричала:

— Ох, как люблю.

А он смеялся своим обычным смехом и говорил своим обычным тоном:

— Ну, ты... раздавишь...

А иногда Берта с деловито шутливым видом наклонялась и спрашивала по-немецки Бортова:

— Вот у того есть деньги?

И Бортов отвечал ей всегда по-русски, смотря по тому, на кого показывала Берта: если интендант или инженер — «много» или «мало, плюнь, брось».

И громадная Берта делала вид, что хочет действительно плюнуть.

Нет, Берта была не в моем вкусе, и я только весело рассмеялся в ответ на слова Бортова.

Чтоб быть совершенно искренним, я должен сказать,

что в то же время рядом с образом Берты предо мной встал образ другой певицы, француженки, по имени Клотильда.

Это была среднего роста, молодая, начинавшая чуть-чуть полнеть женщина, с ослепительно белым телом: обнаженные плечи, руки так и сверкали свежестью, красотой, белизной. Такое же красивое, молодое, правильное, круглое лицо ее с большими ласковыми и мягкими, очень красивыми глазами. То, что художники называют последним бликом, отчего картина оживает и говорит о том, что хотел сказать художник, у Клотильды было в ее глазах, живых, говорящих, просящих. Я таких глаз никогда не видал, и, когда она подошла к нашему столу совершенно неожиданно и наши взгляды встретились, я — признаюсь откровенно — в первое мгновение был поражен и смотрел, вероятно, очень опешенно. Что еще оригинально — это то, что при черных глазах у нее были волосы цвета поспевшей ржи: золотистые, густые, великолепные волосы, небрежно закрученные в какой-то фантастической прическе, со вкусом, присущим только ее нации. Прядь этих волос упала на ее шею, и белизна шеи еще сильнее подчеркивалась.

Теперь, когда я, сидя с Бортовым, вспомнил вдруг эту подробность, что-то точно коснулось моего сердца — теплое, мягкое, отчего слегка сперлось вдруг мое дыхание.

— Клотильда лучше? — тихо, равнодушно бросил Бортов.

— Да, конечно, Клотильда лучше,— ответил я, краснея и смущенно стараясь что-то вспомнить.

Теперь я вспомнил. Вопрос Бортова остановил меня невольно на первом впечатлении, но затем были и последующие.

Правда, я не заметил, чтоб кто-нибудь обнял Клотильду или она к кому-нибудь села на колени. В этом отношении она умела очень искусно лавировать, сохраняя мягкость и такт. Но в глаза, как мне, она так же любезно смотрела всем, а за стол одного красного, как рак, уже пожилого полковника она присела и довольно долго разговаривала с ним.

В другой раз какой-то молодой офицер в порыве восторга крикнул ей, когда она проходила мимо него:

— Клотильдочка, милая моя!..

На что Клотильда ласково переспросила по-русски:

— Что значит «милая»?

— Значит, что я тебя люблю и хочу поцеловать тебя.

— О-о-о! — ласково сделала ему Клотильда, как делают маленьким детям, когда они предлагают выкинуть какую-нибудь большую глупость, и, такая же приветливая, мягкая, прошла дальше.

Ушла она из кафе-шантана под руку с полковником, озабоченно и грациозно подбирая свои юбки.

Случайно ее глаза встретились с Бортовым, и она, кивнув ему, улыбнулась и сверкнула своими яркими, как лучи солнца, глазами. На меня она даже и не взглянула.

Я солгал бы, если б сказал, что я и не хотел, чтоб она смотрела на меня. Напротив, страшно хотел, но, когда она прошла мимо меня, опять занятая своими юбками, с ароматом каких-то пьянящих духов, я вздохнул свободно, и Клотильда-кокотка, развратная женщина, с маской в то же время чистоты и невинности, с видом человека, который как раз именно и делает то дело, которое велели ему его долг и совесть,— Клотильда, притворная актриса, получила от меня всю свою оценку, и я не хотел больше думать о ней.

А мысль, что завтра я уже уеду на ту сторону, в тихую бухту Чингелес-Искелессе, обрадовала в это мгновение меня, как радует путника, потерявшего вдруг в темноте ночи дорогу, огонек жилья.

Поэтому после первого смущения я и ответил Бортову, горячо и энергично высказав все, что думал о Клотильде.

II

А под вечер того же дня с своим денщиком Никитой я уже устраивался в своем новом месте, на самом берегу бухты Чингелес-Искелессе. Мы с Никитой, кажется, сразу пришлись по душе друг другу. Никита — высокий, широкоплечий, хорошо сложенный хохол. У него очень красивые карие глаза, умные, немного лукавые, и, несмотря на то, что он всего на два года старше меня, он выглядит очень серьезным. И если, на мой взгляд, Никите больше лет, чем в действительности, то Никите — это очевидно — я кажусь, напротив, гораздо моложе. Он обращается со мной покровительственно, как с мальчиком, и надо видеть, каким тоном он говорит мне «ваше благородие».

— Держите в ежовых рукавицах — будет хорош,— сказал мне ротный про Никиту.

Никита еще в городе, как самая умная нянька, сейчас же вошел в свою роль. Потребовал у меня денег, накупил всяких запасов, отдал грязное белье стирать, купил ниток и иголок для того, чтобы починять то, что требовало починки,— одним словом, я сразу почувствовал себя в надежных руках и был рад, что совершенно не придется вникать во все эти мелкие хозяйственные дрязги.

В то время, как я собирал в городе нужные инструменты, получал кассу, Никита то и дело появлялся и добродушно, ласково говорил:

— Ваше благородие, а масло тоже купить? А каструльку, так щоб когда супцу, а то коклетки сжарить? Три галагана тут просят.

— Хорошо, хорошо...

Сегодня же я купил и лошадь, и седло, и всю сбрую. Лошадь маленькая, румынская, очень хорошенькая и только с одним недостатком: не всегда идет туда, куда всадник желает. Впоследствии, впрочем, я справился с этим недостатком, накидывая в такие моменты на голову ей свой башлык: потемки ошеломляли ее, и тогда она беспрекословно повиновалась. Никита пошел и дальше, сшив моей румынке специальный чепчик из черного коленкора, с очень сложным механизмом, движением которого чепчик или опускался на глаза, или кокетливо возвышался над холкой румынки.

Мне так по душе пришлась моя румынка, что я хотел было прямо верхом и ехать к месту своего назначения, но Никита энергично восстал, да и я сам, впрочем, раздумал, за поздним вечером, ехать по неизвестной совершенно дороге,— и поехали вместе с Никитой на катере.

Когда, приехав в бухту, я вышел и вещи были вынесены, боцман спросил:

— Прикажете отчаливать?

— Ваше благородие, пусть они хоть помогут нам палатку поставить,— чего ж мы с вами одни тут сделаем?

— У вас время есть? — обратился я к матросам.

— Так точно,— отвечал боцман и приказал своим матросам помочь Никите.

— Ну, где же будем ставить палатку? — спросил Никита.

Где? Это вопрос теперь первой важности, и, отогнав все мысли, я стал осматриваться.

Что за чудное место! Золотистый залив, глубокий, там вдали, слева, город, виднеется, справа, на мысе монастырь, здесь ближе надвигаются горы, покрытые лесом, в них теряется наша глубокая долина с пологим берегом, с этой, теперь золотистой, водой, с этим воздухом, тихим, прозрачным, с бирюзовым небом, высоким и привольно и далеко охватившим всю эту прекрасную, как сказка, панораму южного вида.

Кажется, отсюда видна гостиница «Франция», где живет Клотильда, или я обманываюсь? Но бинокль со мной! Конечно, видна...

— Где же, ваше благородие?

Да, где? Но где же, как не здесь, откуда видно...

— Здесь.

Никита стоял в недоумении.

— Да тут, на самом берегу, нас кит-рыба съест, а то щикалки... Туда же лучше.

И Никита показал в ущелье долины.

— Нет, нет, тут.

— Ну, хоть тут вот под бугорком, а то как раз на дороге.

Там в стороне был пригорок, и, пожалуй, там, в уголке, было еще уютнее и виднее. Между берегом и пригорком образовался род открытой, в несколько сажен в ширину, террасы. С той стороны терраса кончалась горой и лесом. Лучше нельзя было ничего и придумать.

Матросы уехали.

— Ну, вот и готова палатка,— говорил Никита, деловито обходя со всех сторон мою палатку.

— Може, чаю, ваше благородие, хотите? — спросил вдруг Никита.

— Хочу, конечно, и очень хочу.

Никита принялся за самовар, а я на разостланной бурке, на своей террасе, в тени каштанов, лежу и любуюсь тихим вечером.

Что за чудный уголок!

Через месяц-два здесь закипит жизнь, а пока, кроме меня и Никиты, никого, никакого жилья, никаких признаков жилья. Днем будут работать солдаты, рабочие, но на ночь с последним баркасом будут уезжать все в город.

Как будто утомленный работой, день тихо и мирно уходит на покой. Последними лучами золотится морская гладь, а справа, там, где бухта гористым мысом граничит с открытым морем, на самом краю мыса, на небольшом обрыве из-за зелени выглядывает белый монастырь. Вечерний звон несется оттуда, и он, как песня о детстве, о всем, что было таким близким когда-то, говорит мне родным языком, ласкает душу. Налево Бургас, и, как огни, горят стекла его окон.

За моей же террасой косогор, затем опять терраса и спуск в долину. Это сзади, а сбоку косогор поднимается все выше и круче, и оттуда сверху глядят вниз обрывы скал, тенистые ущелья. В ущельях по скатам лес, а в лесу множество серн, фазанов, диких кабанов, но еще больше шакалов. Они уже начинают свой ночной концерт,— их крик тоскливый, жалобный, как плач больного ребенка. А скоро в темноте их глаза загорятся по всем этим скатам, как звезды, и там внизу, в своей белой палатке, я увижу уже два ряда звезд, даже три, потому что третий и самый лучший опрокинулся и смотрит на меня из глубины неподвижного моря. Он такой яркий и чистый, как будто вымыт фосфоричной водой моря.

От каких цветов этот аромат непередаваемо нежный, который несет с собой прохлада ночи? А что за тени там движутся и проходят по воде? Тени каких-то гигантов, которые там, вверху, шагают с утеса на утес.

Вот одна тень приостановилась и точно слушает и всматривается в нас. А в обманчивом просвете звездной ночи все гуще мрак, словно движется что-то и шепчет беззвучно. Что шепчет? Слова ласки, любви, просьбы?.. Чьи-то руки, нежные, прекрасные, вдруг обнимут и вырвут из сердца тайну. Нет этих рук. Жизнь пройдет так, в работе, труде, в скитаниях, в этих палатках. Удовлетворение — сознание исполненного долга.

Сознание, которое только в тебе. Для других ты всегда так же темен, как темна эта ночь.

Сегодня полковник, командир того резервного батальона, который будет у меня работать, когда я пожимал его руку, извиняясь за испачканные руки, так как считал казенное серебро, с улыбочкой, потирая руки, сказал:

— Да, деньги пачкают...

Фу, какая гадость, и как обидно, что нельзя устроить так, чтобы все знали, что ты честный человек.

Интересно, Бортов считает меня честным человеком? В нем много, очень много симпатичного — простота, скромность, но в то же время и что-то такое, что дает чувствовать, что верит он только себе.

Особенно неприятен его смех.

Какой-то сарказм в этом смехе, ирония и горечь. В эти мгновения он, всегда сильный, мужественный, умный, делается сразу каким-то жалким, и что-то старческое в нем тогда.

Никакой начальственности в нем, никакого хвастовства, самодовольствия. А человек, несмотря на свои двадцать девять лет, весь в орденах, занимает такое место. Хотел бы я видеть его в деле,— вероятно, скобелевское спокойствие. Недаром Скобелев и любит так его.

О себе, о своих делах — никогда ни слова. Все, что слышал я о нем, слышал от других. Но вот странно: все отдают ему должное и все в то же время говорят о нем таким странным тоном, как будто он уже покойник или кончил свою карьеру. Я считаю, что единственное, что опасно для него, это его любовь рассуждать, бранить свое начальство. Это может серьезно повредить его карьере, а иначе перед ним прямо блестящая дорога.

Когда он стоит в ряду других, довольно посмотреть на его благородную осанку, спокойное, одухотворенное, полное благородства лицо, чтоб почувствовать, что этот человек выше толпы, это сила. Может быть, это тем хуже, потому что толпа — всегда толпа и всегда инстинктивно, бессознательно стремится к нивелировке. Какой-то меч проходит, и высокие головы падают. Надо уметь вовремя склонять их.

Откуда во мне эта философия? Пора спать.

— Ваше благородие, а хотите, я вам голову обрею? В нашей роте подпоручик Нахимов був, и редкие, редкие у него волосики були, так шматочки, а як я обрив его, то таки космы потом стали...

— Но у меня, кажется, не редкие,— возразил я.

— А все ж гуще будут,— ответил Никита с такой беспредельной уверенностью, что поколебал меня.

Хорошая сторона бритья головы была в том, что это окончательно прикует меня к работе, к этому месту.

А чего другого я желаю? Не ездить же с бритой головой по кафе-шантанам...

И решение мое тут же созрело:

— Хорошо: брей.
— Ну, так завтра я вас обрею.
— А сегодня?
Даже Никита смутился.
— Что ж... сегодня...

Мы устроили в палатке стол, поставили зеркало, зажгли свечи. С некоторой грустью смотрел я на свои волосы, которые Никита торопливо и кое-как остригивал ножницами. Затем он намылил мне голову и стал водить бритвой, комично высовывая язык.

Если не считать маленького пореза возле уха, после которого Никита наставительно сказал: «А зачем вы шевелитесь?» — все остальное кончилось прекрасно. И, оставшись один, я с наслаждением осматривал свою теперь, как колено, голую голову.

На другой день Бортов, увидев меня, хохотал, как ребенок.

— Да что это вам в голову пришло?
— Пришло в голову, собственно, Никите.
— А что, разве не хорошо? — спрашивал Никита,— ей-богу же, хорошо.
— А себя ты что не обрил?
— А мне на что.

Сегодня с Бортовым мы едем в лес, чтобы решить вопрос о будущем шоссе.

Лес дубовый, невысокий, много желтых листьев уже на земле, и, сухие, они приятно хрустят под ногами лошадей. Вверху видно голубое небо, а сквозь тонкие стволы видно далеко кругом. То фазан сорвется, то торопливо прошмыгнет что-то маленькое, уродливое, унылое: это шакал. На полянке свежие следы кабанов — взрытая, как паханая земля.

Бортов останавливался около таких следов, внимательно всматривался и с завистью говорил:

— Сегодня ночью были...

В одном месте вдруг шарахнулась было лошадь Бортова, взвилась на дыбы и, повернувшись на задних ногах, собралась было умчаться назад, но Бортов, прекрасный ездок, скоро, несмотря на козлы, которые задала было его лошадь, справился.

Понеси лошадь, плохо пришлось бы Бортову. Но Бортов только твердил, прыгая на лошади:

— Врешь, врешь...

Было отчего и испугаться лошади: на повороте тропки, прислонившись к дереву, сидел человек в свитке. Голова его склонилась, точно он задумался, руки, как плети, висели по сторонам, ноги протянулись. У ног потухший костер. Из-под шапки выглядывало посиневшее, разложившееся уже лицо. Во впадинах глаз сидел рой мух, своим движением делая обманчивое впечатление странно, частями, движущихся глаз. Нестерпимый запах трупа говорил о том, что он уже давно здесь. Почему он здесь, какая тайна произошла тут? Что пережил он в свои последние минуты?..

Задумался и сидит, точно все еще вспоминает свою далекую родину, близких сердцу... Столько тоски было в его позе, столько одиночества.

— Это погонщик,— вероятно, припадок здешней лихорадки,— сказал Бортов,— трех-четырех припадков довольно, чтоб уложить в гроб любого силача, а этот был и без того, как видно, изнурен.

Я слушал. Казалось, слушал и покойник — напряженно, внимательно. Слушали деревья, ветви, трава, голубое небо — все слушало в каком-то точно страхе, что вот-вот откроется то таинственное, что происходило здесь, и узнают вдруг люди страшную тайну.

Но Бортов уж проехал дальше, бросив:

— Надо будет сказать окружному, чтоб убрали...

И, помолчав, прибавил:

— Это хорошая смерть.

— Что? — переспросил я, занятый мыслями о судьбе погонщика.

— Говорю: это хорошая смерть.

Он так холодно говорил.

— В смерти малого хорошего,— ответил я.

— Смерть — друг людей.

— Предпочитаю живого друга.

— Живой изменит.

И резонанс его голоса зазвучал мне эхом из пустого гроба. Какое-то сравнение Бортова с тем покойником промелькнуло в моей голове.

Если сильный, умный Бортов говорит так, что делать другим? И почему он говорит так?

На той стороне реки Мандры я остановил лошадь, чтобы попрощаться с Бортовым.

— Едем в город,— сказал с просьбой в голосе Бортов.

Я только нерешительно, молча показал ему на свою голую голову.

— Да ведь вы в шапке — надвиньте больше на уши,— кто заметит?

Я колебался. Солнце уже село. Мертвые фиолетовые тона бороздили море и темным туманом терялись в отлогом и песчаном, необитаемом побережье.

В город тянуло — хотелось жизни, а там, назади, еще сидел и словно ждал меня, чтобы рассказать и передать мне свою смертную тоску, покойник.

— Едем,— согласился я.

И после этого решения и я и Бортов вдруг повеселели, оживились. Вспоминали наше инженерное училище, учителей и весело проболтали всю остальную дорогу до города.

В квартире Бортова нас встретил немного смущенный Никита.

— А я сейчас верхом хотел ехать: прибежал на пристань, а катер перед носом: фьють...

— Я, значит, там один бы сегодня сидел?

— Ну так как же один,— ответил Никита,— опять же удвох бог привел.

И успокоенным голосом Никита сказал, как говорит возвратившаяся из городу нянька:

— А я вам, ваше благородие, турецкую шапочку купив, щоб с голой головой не ухватить якой хвори.

И Никита вынул из одного из свертков голубую феску.

— Глаза у вас голубые и хвеска голубая.

Когда я надел и посмотрел в зеркало, Никита сказал:

— Ей-богу же хорошо.

Бортов, уже опять обычный, окинул меня взглядом и сказал:

— Так и идите.

Так я и пошел в кафе-шантан.

Опять пели, пили, кричали и стучали.

Опять Берта дурачилась и Клотильда обжигала своими глазами.

Клотильда подошла к Бортову, пожала его руку и, присев так, что я очутился у нее за спиной, озабоченно спросила:

— Кто этот молодой офицер, который был с вами третьего дня?

— Понравился? — спросил ее Бортов.

— У него замечательно красивые волосы,— серьезно сказала Клотильда.

В ответ на это Бортов бурно расхохотался.

Пока Клотильда смотрела на него, как на человека, который внезапно помешался, Бортов закашлялся и в промежутках кашля, отмахиваясь, говорил:

— Ну вас... убили... вот...

Клотильда повернулась по направлению его пальца и увидела меня, вероятно глупого и красного, как рак, с дурацкой голубой феской на бритой голове.

В первое мгновение на ее лице изобразилось недоумение, затем что-то вроде огорчения, а затем она так же, как и Бортов, бурно расхохоталась, спохватилась было, хотела удержаться, не смогла и кончила тем, что стремительно убежала от нас.

В результате весь кабак смотрел на меня во все глаза, а я, злой и обиженный, ненавидел и Клотильду, и Бортова, и Никиту, виновника всего этого скандала.

Все остальное время я смотрел обиженно, молча клал в тарелочку Клотильды мелочь и озабоченно торопился пить свое вино. Проходя однажды мимо нас, Клотильда наклонилась к Бортову и что-то шепнула ему. Я в это время встретился с ее игравшими, как огни драгоценных камней, глазами. Взгляд этот настойчиво и властно проник в меня, в самую глубь моего сердца, больно кольнув там его, а Бортов, выслушав Клотильду, бросил ей:

— Скажите сами ему.

Клотильда рассмеялась, кокетливо мотнула головкой, и я, переживая неизъяснимое удовольствие, увидел, что бледное лицо ее вспыхнуло, залилось краской, и не только лицо, но и уши, маленькие, прозрачные, которые сквозили теперь, как нежный коралл.

В это мгновение она была прекрасна,—смущение придало ей новую красоту, красоту души, и, когда взгляды наши встретились, все это она прочла в моих глазах. По крайней мере я хотел, чтобы она это прочла.

Она ушла от нас, и, кажется, никогда еще так грациозно не проходила она. Столько достоинства, благородства было во всей ее фигуре, лице, столько какой-то светящейся ласки, доброты.

— Она сказала, что ошиблась, думая, что самое красивое в вас — волосы: феска еще лучше идет к вам...

— Это показывает,— отвечал я краснея,— что она вежливая девушка...

— Девушка?..

От этого переспроса я как с неба свалился и убитым взглядом обвел весь кабак. Клотильда уже сидела с кем-то, и тот шептал ей, чуть не касаясь губами тех самых ушей, которые только что так покраснели.

И все такой же невинный вид у нее...

Бортов, который,— я это чувствовал,— читал, как в книге, мои мысли, смотря мне в упор в глаза, сказал серьезно:

— Чтобы покончить раз навсегда со всем этим, поезжайте сегодня ужинать с ней.

Я, как ужаленный, ответил:

— Ни за какие блага в мире!

Еще слово — и, вероятно, я расплакался бы.

— Ну, как хотите,— поспешил ответить Бортов и апатично, холодно спросил: — Может быть, домой пойдем?

— Пойдем,— обрадовался я.

Клотильда увидела, как мы встали, сделала было удивленное лицо, но, встретив мой мертвый взгляд, равнодушно скользнула мимо и улыбнулась кому-то вдали.

Я торопливо пробрался к выходу и жадно вдохнул в себя свежий воздух ночи.

Прекрасная и бесконечно пустая ночь. Луна, яркая, как брошенный слиток расплавленного серебра, плавит синеву неба и тонет глубже в ней, а фосфор моря красит зеленым отливом лунный блеск, и в фантастичных переливах этих тонов чем-то волшебным, волшебным и живым кажется все: берег с ушедшими вверх деревьями; пристань, ее темно-прозрачная тень, серебряная зелень просвета между морем и верхом пристани; там дальше даль моря с полосой серебра — след луны — и, как видения в ней, в этой полосе, точно прозрачные, точно ажурные, корабли с высокими бортами и мачтами, уходящими в небо.

И тихо кругом, и только прибой, этот вечный разговор моря с землей, будит тишину, и гулко несется его шум в спящие улицы с неподвижными домиками в два этажа, с их галереями и балконами, решетчатыми окнами, черепичными высокими крышами, каменными дворами, или, вернее, комнатой без потолка там, внутри этих домов.

Говорят, болгарки красивы, но я ни одной не видел.

Что мне до их красоты? Красива Клотильда, красива, как эта ночь, и так же, как ночь, обманчива, так же, как ночь, черна ее жизнь, ее дела... И такая же сосущая пустота и тоска от нее, как от этой ночи. Волшебно, красиво, но нет живой души, и мертво все,— нет у Клотильды души чистой, чарующей, и нет Клотильды — той божественной, которая во мне, в моей душе, как видение, как та прозрачная дымка тумана там в небе,— то Клотильда склонилась и смотрит печально на красоту моря и земли. То моя Клотильда смотрит,— не та, которая там в кабаке теперь ходит и продает себя тому, кто даст дороже.

А!.. Но как ужасно сознавать свое бессилие, сознавать, что ничего, ничего нельзя здесь сделать, и чувство это, которое во мне,— оно уже есть, зачем обманывать себя,— это что-то живое уже теперь, рождено только для того, чтобы умереть там, в тюрьме моего сердца, умереть и не увидеть света, и я сам, как палач, должен задушить это нежное, прекрасное, живое, и это неизбежно надо, надо, надо... И после этого я стану лучше, чем был; стану мягким, добрым... Странное противоречие. Но о чем тут думать? Разве я могу к моей матери, сестрам, их подругам, нарядным, веселым, привести Клотильду и сказать: «Вот вам моя жена». Конечно, нет. Но я привезу. Не ту, которая там, в кабаке; она там и останется и никогда не узнает, что зажгла она во мне,— я привезу Клотильду, какой она могла бы быть, в образе того прозрачного тумана в том небе. И будет она вечным спутником моим в жизни, как Беатриче у Данте. Она будет звать меня, и я буду слышать ее голос и буду вечно с ней — высшим счастьем и высшим страданием моей жизни.

Может быть, когда-нибудь я буду сам смеяться над всем этим, но теперь я хочу плакать.

Мы подошли к квартире, и, в ожидании пока отопрут, Бортов сказал апатичным голосом:

— Я послезавтра устрою охоту. Я закачусь на несколько дней. Вам придется на это время сюда переехать.

— Перееду,— ответил я.

— Вы любите охоту?

— Я никогда не охотился.

— Хорошо!.. Несколько ночей на свежем воздухе, спать прямо на земле.

— Можно простудиться.

— Война кончилась.

— Разве для войны живут?

— Мы-то? — переспросил Бортов.— Кто-то где-то сказал про нас: во время войны они страшны врагам, а во время мира — для всех несносны.

III

Бортов уехал на охоту, а я живу в Бургасе, в его квартире, распоряжаюсь работами, днем езжу в свою бухту, и, завидя меня, Никита радостно бежит и каждый раз спрашивает: «Совсем ли?»

И каждый раз я отвечаю:

— Нет еще.

Я задумчив, сосредоточен, работаю много, охотно, но работа не все. Есть еще что-то, что остается неудовлетворенным, ноет там где-то внутри и сосет.

Вечера я провожу в квартире Бортова и читаю его книги. Он предложил мне их перед своим отъездом таким же безразличным, скучающим голосом, каким предложил мне почетное для меня место своего помощника. Я уловил эту манеру его: чем серьезнее услуга, которую он оказывает, тем пренебрежительнее он относится к ней.

В данном случае услуга громадная: предо мною серьезная литература. К стыду моему, я мало, или, вернее, совсем незнаком с ней.

Я откровенно признался в этом Бортову и благодарил его от всей души. Он многое говорил тогда мне. Я только слушал его, кивая головой, но смысл понял только много-много позже.

Что до него, то очевидно, что он был прекрасно осведомлен обо всем.

— Здесь ничего нет удивительного, мой отец был писатель... он писал в «Современнике», потом в «Русском слове» под псевдонимом, теперь забытым, но мы росли в его обстановке... Когда он умер, мы остались без всяких средств, и таким образом я попал по заслугам деда стипендиатом в корпус, затем в инженерное училище, академию... Это не моя дорога. Матушка моя и сейчас жива: она да я — из всей семьи только мы и остались...

Мое отчаяние тогда по поводу неудачной любви к Клотильде,— я уже любил ее,— не было так велико, чтобы

убить мою энергию, но было достаточно, даже слишком достаточно, чтобы искать забвенья в чем-нибудь. Работа, чтение, как освежающая ванна, действовали на меня, а детская, может быть, мысль, что я уеду отсюда преуспевшим и в своем искусстве и в литературе, давала мне новые крылья.

Пусть я потерял здесь свое сердце, потерял навсегда,— так думал я,— но я приеду к матери, сестрам образованным человеком, знающим специалистом. Я поступлю в академию, и каждый мой новый шаг будет радовать их... Почему Бортов сказал, что это не его дорога?

Я вспоминаю эти прекрасные вечера, когда кончались мои работы.

Усталый, как все, я иду, чутко прислушиваясь к замирающему шуму дня. Вот изумрудно-пурпурный след лодки, вот последние красные лучи солнца, и сегодня, после дождя и бури, море красное, как пурпур, а с левой стороны заката небо залито оранжевым огнем, и тучи там кажутся грозными бастионами, крепостями, рядом крепостей. Туда проходит теперь солнце, и за ним с далеким грохотом запираются тяжелые ворота этих крепостей. Вот уж заперты ворота, и только сквозит огненная полоска, свидетель того, что владыка мира еще там.

Потух пурпур, и теперь фиолетовым, нежным и неуловимым налетом светится море: верх волны — фиолетовый, низ — еще пурпур, средина — изумруд, и уже горит серебристо-зеленым фосфором ночи воздух.

Открыты окна, горят на столе под зеленым абажуром свечи, и темнота и мрак там в окне, и что-то словно заглядывает оттуда в мою комнату, где сижу я и читаю, как читают лекции, отмечая в записной книжке непонятное, о чем я спрошу Бортова, потому что я хочу все знать и все понять.

Однажды, все еще в то время, когда Бортов был на охоте, под вечер, возвращаясь по пристани с работ, я совершенно неожиданно встретился с Клотильдой.

Она вышла, вероятно, подышать и погулять, чтоб сильнее почувствовать свою отверженность. Те, которые через два часа будут восторженно целовать ее руки, проходили теперь мимо с своими дамами, не замечая ее. Она стояла грустная, задумчивая и смотрела в море.

Собственно, даже не в море, а в ту сторону, где находилась моя Чингелес-Искелесская бухта.

Когда я проходил мимо нее, наши глаза встретились, и она смотрела на меня так же равнодушно, не ожидая поклона, как и на всех остальных.

Я шел и думал: «Я не пойду к ней в ее кафе-шантан, но почему мне не поклониться? Я кланяюсь ей, как человеку».

Может быть, мысль, что в этом обществе никто меня не знает, придавала мне храбрость. Будь здесь моя мать, сестры, и я так же, как и другие, прошел бы, наверно, мимо.

Как бы то ни было, я поклонился и даже задержался немного, и когда она нерешительно сделала попытку протянуть мне руку, я со всем уважением, какое мог придать своим движениям, пожал ее.

— Вы теперь здесь, в Бургасе, живете? — спросила она спокойно, с тем же оттенком грусти и задумчивости.

Я удивился, откуда она знает это, и ответил:

— Да, до возвращения с охоты Бортова.

— Вас не видно.

Я смутился и ответил:

— У меня много дела: днем на работах, вечером за письменным столом.

— Вы всегда так работаете? — спокойно спросила она.

— Нет... не всегда,— ответил я уклончиво.

Она скользнула по мне глазами и опять спокойно, задумчиво спросила:

— Бортов скоро возвратится?

— Я думаю, что теперь скоро.

— Он очень хороший человек,— сказала она.

Меня приятно удивляло спокойствие ее манер совершенно порядочной женщины. Я испытывал, правда, тайное, но несомненное и даже — будем говорить откровенно — величайшее наслаждение стоять с ней рядом, говорить и чувствовать ее, эту Клотильду, такой, какой я чувствую ее ежесекундно, всегда, даже во сне в своем сердце. Любовь — это болезнь своего рода. Как в болезни каждое движение напоминает вам эту болезнь, так и в любви всякая мысль, всякое движение — все в честь той, которую любишь.

Это надо сделать. Почему? Потому, что я люблю. А, я люблю?! Так я сделаю в десять раз больше ради той,

которую я люблю. В честь ее буду жить, в честь ее и умру.

— Вы там живете?

И Клотильда указала глазами в сторону моей бухты. Она и это знает.

— Да, там.

— Там красивое место. Оно мне напоминает мою родину — Марсель...

То, что она говорила, было совершенно ничто в сравнении с тем, как она говорила.

«Мою родину», «Марсель»... как зарницы в небе: сверкнет вдруг нежно, грустно и опять замрет. Родина, Марсель,— они оживали вдруг, и я в блеске зарниц видел их, видел ее в них,— видел, чувствовал понимал ее без слов, и, чтобы возвратить ее туда такой, какой была она когда-то, с каким блаженством я отдал бы за это всю свою жизнь.

— Как хорошо здесь,— вздохнула она после паузы.— Может быть, когда-нибудь я приеду посмотреть вашу бухту,— сказала она, прощаясь,— вы позволите?

Я только поклонился, как умел.

IV

Приехал Бортов, усталый, бледный, более чем обыкновенно апатичный, мертвый.

— Хорошая охота?

— Хорошая.

После осмотра всего, что было сделано без него, я показал ему мои работы по литературе, прося объяснений.

Понемногу он словно возвратился опять откуда-то, и я слушал его с раскрытым ртом, удивляясь обширности его познаний, скрытой мягкости, ласке, слушал с буравящей мыслью, что мешает этому умному, сильному, талантливому красавцу жить и наслаждаться жизнью.

— Были в кафе-шантане? — спросил, меняя разговор, Бортов.

— Нет...

Я рассказал ему о встрече с Клотильдой.

— Ну, теперь на ваш счет будут чесать языки все наши кумушки,— сказал он.

— Кто меня знает?

Бортов усмехнулся.

— Здесь все знают всех. Не лучше любого провинциального городка.

— Мне все равно.

— Это-то конечно. Клотильда что? Она умеет по крайней мере себя держать, а я с Бертой прогуливаюсь,— вот посмотрите...

Бортов засмеялся своим старческим и детским в то же время смехом.

— Первое время все эти маменьки носились со мной, как с писаной торбой... Но когда потеряли надежду на меня, как на жениха...

Бортов махнул рукой.

— Вы когда хотите ехать к себе?

— Сегодня же,— ответил я.

— Пообедаем хотя.

Было пять часов. Мы с Бортовым и Бертой обедали в гостинице «Франция».

Клотильда вошла в залу, когда мы обедали, и, увидев нас, радостно и даже бурно поздоровалась с Бортовым, приятельски с Бертой и ласково со мной.

— Сегодня вечером увидимся?

— Да вот,— ответил Бортов, показывая на меня,— не удержишь ничем: едет к себе.

Клотильда посмотрела на меня и сказала Бортову:

— Может быть, и мы когда-нибудь проникнем в тот таинственный уголок... Мы будем его называть монастырь святого Николая. Так, кажется, зовут молодого отшельника?

И она ушла, оставляя во мне аромат ее духов, неудовлетворение, тоску, неисполнимые — хоть весь мир разрушь — желания.

В семь часов отходил последний катер, и с обеда мы с Бортовым отправились прямо на пристань.

Там уже стоял готовый паровой катер, и хозяйственный Никита возился, устраивая мне удобное сиденье.

Я сел, и мы тронулись. Затем я насунул плотнее свою фуражку на лоб и задумчиво уставился в исчезавший городок... Образ Клотильды снова охватил меня, опять я осязал ее: ее глаза, золотистые волны густых чудных волос... Клотильда была там, в городе, в каждом здании, в каждой искорке прекрасного вечера, в этой голубой

дали и в том одиноком монастыре, и в моем сердце, и выше, выше головы, и, боже мой, чего бы я ни дал, чтоб хоть на мгновение увидеть опять ее... И вдруг я увидел ее, и наш катер чуть не перерезал ее маленькую лодку, где сидела на руле она, а два турка гребли. И, не обращая внимания на опасность и на крики матросов, ругавших ее гребцов, она, с натянутыми шнурками руля, быстро, тревожно искала кого-то глазами на катере и вдруг, увидя меня, весело, как ребенок, сверкнула своими черными глазами и закивала мне головой. В это время катер мчался возле самого борта ее лодки, и я увидел ее близко, близко, ее атласную руку и взгляд более долгий, чем весь переезд, взгляд, перевернувший все во мне, охвативший меня и огнем и болью. Ко мне долетел какой-то лепет ее, немного горловой, немного детский, как легкая, мягкая жалоба.

Все это произошло так быстро.

Я вскочил и пришел в себя, когда лодка ее была уже далеко, а я все еще стоял с шапкой в руках и все смотрел ей вслед.

Затем я вспомнил, где я,— матросы и Никита все видели,— надел опять шапку и с отчаянием человека, который теперь ничего уж не поделает, сел опять и, не смея ни на кого взглянуть, постарался сделать самое угрюмое и безучастное лицо. Насколько это мне удалось — не знаю. Но, когда мы подъехали к мосткам нашей будущей бухты, тон Никиты еще усилился в смысле покровительства:

— Ваше благородие, матросам дать, что ли, на водку?

— Конечно, конечно... дай им два рубля... Спасибо, братцы.

— Рады стараться, ваше благородие! Проклятые турки, чуть не утопили барышню.

— Да-а...

Пока приготовлял Никита ужин и чай, я ходил по своей террасе, смотрел на море и думал, конечно, о Клотильде. Меня мучил теперь вопрос: зачем она выехала ко мне навстречу? И вдруг мне пришла очень простая мысль: да выезжала ли она ко мне, или просто захотела покататься? Все мое праздничное настроение сразу исчезло: какой я наивный однако! А немного погодя опять в защиту Клотильды начали появляться в моей голове разные доводы. Во-первых, ее взгляд, которым она искала... но она могла искать, конечно, и кого-нибудь другого. Ну, а

огонь в глазах, и радость, и какие-то фразы, которых я не расслышал? Господи, да зачем же я катера не остановил, чтобы переспросить?! Она, вероятно, этого и хотела, и то, что я пронесся мимо, она не могла себе объяснить иначе, как моим окончательным нежеланием даже соблюдать с ней вежливость.

Вечер мой пропал. Я упрекал себя и порывался в город. Боже мой, когда отчаливал катер, мне казалось, его винт буравит не в море, а в моем сердце.

А там из-за темной синевы мелькают огоньки. Там в деревянном здании будет петь сегодня Клотильда. Не та Клотильда, которая во мне, а другая, с такими же, впрочем, золотистыми волосами, пронизывающими ласковыми глазами, что жгут меня... не знаю сам, какая...

А темный лес уже огласился миллионами ужасных воплей шакалов.

— Го, прокляты щикалки,— говорил Никита, ставя ужин,— як зарезаны диты сковчат...

Как подходит это сравнение с зарезанными детьми здесь, где такими зарезанными удобрена вся земля Болгарии!

А позднее к этим воплям прибавился свист ветра, глухие, как пушечные выстрелы, удары моря, шум леса. Я лежал в своей палатке и под этот нестройный концерт думал о Клотильде.

Клотильде нравится мой уголок: он напоминает ей ее родину. Я люблю этот уголок, люблю ее, ее родину. Я буду здесь работать: я привез книги — буду читать.

V

Это был период затишья в моей любви к Клотильде. Что мне за дело до той позорной Клотильды? Я ее не знал и не буду никогда знать. Я жил в своей бухте среди прекрасной природы, среди работы. Все сразу пошло в ход: и пристань, и дом, и шоссе. Полковнику батальона, который будет работать, дали взятку: его люди записываются в табеля с подделкой их фамилий под турецкие и болгарские.

Но я выговорил только одно: кроме той суммы, которая шла на улучшение пищи, остальное получать солдатам прямо на руки и беречь эти деньги помимо полковых ящиков.

Расчеты производились по субботам. При расчетах, по моему настоянию, должны были присутствовать старшие унтер-офицеры и батальонный офицер. Это я сделал уже для себя лично: в ограждение от сплетен, возможность которых допускал после намека полковника.

Мне по душе была моя кипучая жизнь. Я вставал в четыре часа утра и прямо из палатки бросался в море: это было вместо умыванья. Затем я пил чай с «буйволячьим» маслом. И масло, и молоко, и мясо буйвола — такая гадость, о которой вспомнить противно. Особенно мясо, черное, слизистое и с отвратительным вкусом к тому же. В отношении еды вообще было худо: хлеб, пополам с кукурузной мукой, был всегда черствый, тяжелый и не шел в рот. Никитины «коклетки» имели завлекательность только на устах Никиты, когда он вкусно спрашивал:

— Ваше благородие, може чего-нибудь вам сготовить?

— А что?

— А коклетки? На масле поджарить! скусно...

И поверишь, а принесет... брр...— пахнет сальной свечой.

Зато чай, если горячий, был вкусный. Иногда я задумывался — и тогда чай стыл, а я просил Никиту дать мне свежего. Но экономный Никита соглашался не сразу.

— Горячий же, бо палец не терпит.

И в доказательство он опускал в мой стакан палец и говорил:

— Ох, якой ж еще?

— Никита,— говорил я в отчаянии,— разве ты не понимаешь, что после твоих грязных рук я не могу пить.

— Коклетки теми же руками вам готовлю,— отвечал смущенно Никита, рассматривая свои грязные руки.

Выкупавшись и напившись утром чаю, я подходил к работавшим на пристани, отдавал нужные распоряжения саперному унтер-офицеру, а в это время Никита подводил мне мою румынку. Я садился и ехал к домику, который выводился для меня в противоположном углу бухты, тоже вблизи моря и леса.

Этот домик мы скомбинировали из старых досок в два ряда с заполнением пространства между ними песком или землей. Заведующий работами унтер-офицер разыскал вблизи кучи древесного угля, оставшегося, вероятно, после обжога, и мы решили, на что теплее будет, если заполним пространство между досками этим углем. Мы так и сде-

лали, и вследствие этого и я и все приезжавшие ко мне покрывались черной пылью, в изобилии пробивавшейся сквозь щели досок. Впоследствии, впрочем, мы устранили это неудобство, обив стены холстом палатки.

После осмотра работ домика я уезжал на шоссе.

При огибе каменного мыса шли динамитные работы.

Солдатики придумали себе и другое употребление из динамита. Зажигая фитиль, они бросали патрон динамитный в воду, и когда раздавался выстрел, то поверхность воды покрывалась массой оглушенной рыбы. Солдатики хватали ее, варили и ели. Ел и я, хотя за растрату казенного имущества мог быть привлечен к суду.

Этого чуть-чуть не случилось.

В озере, в недалеком расстоянии, водилось много рыбы. Солдаты, припрятав патроны, однажды в одно воскресенье, когда работ не бывало, отправились на озеро ловить рыбу.

Наловили массу и всю съели. Съели — и заболели какой-то злокачественной лихорадкой. Несколько человек меньше, чем в полсуток, умерли. Я никогда не видал ничего подобного: их подбрасывало от земли по крайней мере на пол-аршина.

Оказалось, что в это озеро во время тифозной эпидемии бросали умерших. Рыба, вероятно, питалась их мясом: рыба действительно была поразительно жирна.

Дело, впрочем, замяли, отнеся все к воле божией.

Только полковник категорически заявил:

— На штаны всем солдатикам все-таки надо дать.

И дали, снеся расход на покупку досок.

При желании можно было много выводить таким образом расходов.

К обеду, к двенадцати часам, я возвращался домой, ел «коклетку», пил чай и ложился спать. В два часа я опять купался и опять начинал свой объезд работ.

К семи часам работы кончались, и я возвращался к себе. Это было лучшее время.

Жар спадал, солнце садилось; мне расстилалась бурка, клалась подушка; я ложился со стаканом чаю, с книгой в руках.

Еду сегодня отыскивать камыш для будущей крыши своего домика. Лесом, а тем более железом, крыть дорого.

Не может быть, чтобы здесь не было где-нибудь камыша или папороти. Я уже расспрашивал братушек, но они молчат, а солдаты говорят, что есть тут подальше камыш.

Моя Румынка уже в чепчике,— и, напившись чаю, еду по прямому направлению к югу. Поднялся лесом по какой-то тропинке, наткнулся по дороге на кабаньи следы (Бортову сказать) и выехал на водораздел. Лес исчез, и перед глазами волнистая открытая местность; вот влево повернула большая долина: там должна быть река и камыши.

Какие дни! Безоблачные, тихие, ясные. О такой ясности только знают те, кто знает южную осень. Небо, нежное, синее, охватило своими объятиями яркую, нарядную, всю в солнце, но с печатью какой-то неподвижной грусти, землю, и точно спит в его объятих земля, и с нею спят и море, и корабли, и их белые паруса в синем море, и та высокая колокольня монастыря. Спят или в неподвижном очаровании слушают какую-то нежную скорбь, тихую жалобу, ту жалобу, что шепчет красавица-земля своему возлюбленному солнцу, собирающемуся далеко-далеко уйти от своей милой. Все молит его тихо, покорно: «Останься!» И стоит в раздумье солнце и льет и льет свои последние яркие лучи, и нежнее замирает земля.

Я спускаюсь к реке, в долину, на большую дорогу, на которой вижу библейские картинки.

Вот идет красавица-болгарка: строгие правильные черты лица, большие черные глаза, живописный костюм, полуприкрытое лицо, мул, на нем мальчик, и рядом с мулом и болгаркой низкорослый, кривоногий, исподлобья смотрящий болгарин.

А дальше я обгоняю арбу, запряженную парой уродливых, голых, черных, как черти, буйволов. Увидели буйволы сверкнувшую реку и понесли и арбу и уснувшего болгарина; лягут там, забравшись по горло в реку, и уж никакими силами не выгнать их оттуда, только их черные морды, как головы гиппопотамов, будут торчать из воды.

А вот и то, что я ищу — камыши.

Еще проехал,— и маленькая дорожка свернула к виднеющейся вдали деревушке у самой речки.

Я въехал на холмик, и оттуда видна мне и залитая солнцем деревушка, и яркая зеленая мурава осеннего луга, и вся осенняя даль, привольная, тихая и задумчивая в ясном дне. Глаз не хочет оторваться от уютной картинки;

глаз ласкают и даль, и речка, и мирная деревушка, а в голове, как волны музыки, как звуки какого-то нежного, знакомого мотива, просыпаются какие-то, точно забытые, мысли о чем-то. Точно видел уже эту деревушку где-то, в какой-то панораме, видел эти горы, что вырастают там за ней, уходя вдаль, все выше и выше, в голубое небо. Кто-то рассказывает или ветерок шепчет какие-то сказки...

Неохотно съезжаю с пригорка и, охваченный этой негой покоя и тишины, еду по мягкому лугу. Но Румынке, очевидно, хочется поскорее добраться до деревни и узнать, что там за уголок, где тоже живут люди, живут, радуются, страдают...

Вот речка и мост, вот уже близки потемневшие домики, и узорчатые окна, и чистые улицы, и поворот, и картинка, навсегда запечатлевшаяся в памяти.

Девушек двадцать болгарок — все красавицы, как на подбор, все высокие, стройные, все гордые, с большими черными глазами, красивыми белыми лицами,— взявшись за руки, с венками на головах, что-то поют и кружатся в хороводе.

Это хоровод русалок, это выставка красавиц.

Вокруг старухи, дети.

Я стою очарованный, прирос к седлу, не могу оторвать глаз от волшебного виденья,— и вдруг крик, и все исчезает быстро, как видение, закрываются окна, и через мгновение я один в глухой, пустой улице, и никого больше, и так пусто, точно вымерли все или выселилась деревня.

Я долго стучусь, пока наконец удается вызвать мне какого-то старика, немного понимающего русский язык, и я объясняю ему цель своего приезда. И много еще времени проходит, пока наконец собирается небольшой кружок болгар, и я слышу свое имя.

— Кептен Саблин.

На меня смотрят уже не так угрюмо и кивают головами.

Начинается разговор относительно камыша. Два франка за сотню снопов: кажется, недорого. Я даю задаток. Доверие порождает доверие, и на вопрос, далеко ли турецкое селение, первый старик, нехотя, опустив глаза, говорит, что чужеземцу не надо ездить по чужим селам, а тем более к туркам.

Он вскидывает на меня глаза, опять их опускает и кончает так спокойно, что мне делается немного не по себе:

— Иногда режут по большим дорогам...

Толпа стоит, точно слушает мой приговóр, и смотрит мне в глаза: «Ты слышал?»

— Пусть режут,— отвечаю я,— совесть моя чиста, и я никому не хочу дурного.

— Не надо деньги возить... не надо ездить...

Я хочу спросить о хороводе, посмотреть костюмы девушек, но толпа точно угадывает мои мысли, и никто не хочет смотреть на меня, и так чужды все мне, точно спрашивают: зачем же я еще стою, когда все сделано, и ко всему я не только жив, но и получил их добрый совет?

— Спасибо,— вздыхаю я и протягиваю руку старику.

— Поезжай, поезжай,— говорит облегченно старик.

И я еду, но предо мной все еще хоровод красавиц девушек, и я, отъезжая, даю себе обещание возвратиться опять, чтоб врасплох увидеть прекрасных болгарок.

И я ездил, и не раз, но напрасный труд,— болгары уже были настороже — и так и не удалось мне больше увидеть, что нечаянно, как из-за занавески, увидел раз и то мельком.

Я возвращаюсь домой, думая о болгарках, думая о своих делах, довольный найденным камышом и смущаемый мыслью, что стоит моя работа с мостом на Мандре. Нет понтонов, а 16-я дивизия скоро-скоро уже тронется, и без моста не переправишь артиллерию. И вдруг я вспоминаю: там, в углу старой пристани, у Бургаса, стоит несколько старых барж, очевидно оставленных за негодностью; но, негодные для плавания, они могут вполне годиться для понтонов. А если они годятся, то у меня через неделю будет готов мост на Мандре!

И я, весь потонув в деталях своего проекта, совсем не заметил обратной дороги.

VI

Был какой-то праздник, и так как в праздники мы не работали, то я скучал.

Я лежал на бурке на своей террасе, прислушивался к сонному плеску моря, вдыхал в себя свежий аромат его, следил за золотой пылью заката, смотрел на Бургас, монастырь, вдаль и скучал.

— Никита?

У Никиты дощатый балаган там, на пригорке: в одной половине лошадь, в другой он со своим хозяйством, а перед балаганом — кухня.

Его не так легко дозваться.

— Ась? — отзывается наконец он и идет тяжелыми шагами ко мне.

— Ты что там делаешь?

— Что? Записую расходы...

Никита все время или считает деньги, или записывает какие-то расходы.

— Ты откуда родом?

— Откуда? Из Харьковской губернии.

— Жена есть?

Никита задумывается, точно вспоминает.

— Нет.

И, помолчав, уже подозрительно спрашивает:

— А вам на што знать, ваше благородие?

— Так,— отвечаю я.

— Ваше благородие, а масла завтра потребуется?

— А что, нету?

— На утро еще будет... и говядины надо купить.

— Да ведь недавно же покупали?

Никита начинает с увлечением: конечно, недавно, и он был уверен, что по крайней мере ее хватит на четыре дня. Но приехал Бортов — коклетки нет, вчера я ужинать потребовал — опять нет...

Никита чувствует, что этого мало, и лениво прибавляет:

— Так, шматки остались...

Но затем новая мысль приходит ему в голову, и он опять оживляется:

— А, конечно, дорого, бо все воловье мясо. Буйволячье чуть ли не в два раза дешевле.

Но я уж лезу в карман, чтобы только избавиться от буйволячьего мяса.

— Ваше благородие,— доверчиво, тихо говорит Никита,— а вина тоже нет.

— Вина не надо,— огорченно говорю я, предпочитая отказаться от рюмки вина в свою пользу и стакана в пользу Никиты.

Хотя впоследствии оказалось, что он не пил, а просто отливал и подавал мне опять уже оплоченное раз вино. Один офицер, некто Копытов, утверждал, что Никита увез

от меня за время пребывания, кроме жалованья, по крайней мере рублей двести. Может быть, но я люблю Никиту, и Никита меня любит, а Копытов и сам ненавидит своего денщика, и тот платит ему тем же.

Эту маленькую сплетню передал мне сам Никита.

— Ваше благородие, а что вы в город не поехали? — заканчивает Никита нашу беседу, получив деньги.

— Ничего я там не забыл,— отвечаю я голосом, не допускающим дальнейших разговоров.

— Як монах сидите... От теперь и вина уж не будете пить,— гости приедут, чем поштувать станете? Чи той водой?

Никита показывает на море.

— А какая краля вдруг приедет? Я ж на свои и то купил...

Никита надоел.

— Ну вот, Никита, плачу в последний раз: бутылку на неделю — и конец.

— Да хоть две пусть стоит, як пить не станете.

И я даю Никите еще денег.

Но что это? Мы оба с Никитой оглядываемся и видим на пригорке... Клотильду, Бортова и Альмова, инженера путей сообщения.

Альмов милый господин, но шут гороховый. Он не может пройти мимо какой-нибудь блестящей поверхности, чтобы не посмотреть в ней свой язык. Начинает всегда фразой:

— Послушайте, знаете, что я вам скажу...

Но возьмет нож, или в крайнем случае возьмет зеркальце, посмотрит свой язык, рассмеется, добродушно, ласково и глупо,— и никогда так и не скажет ничего...

Но так, в общем, Альмов — милейший господин, а в этот момент я даже люблю его.

— Э!..— крикнул он весело,— помогите же даме...

Мы с Никитой так и стояли с открытыми ртами.

Клотильда на своем золотистом карабахе, как воздушное видение, была там, на пригорке.

Карабах сделал прыжок и так и остался на мгновение с всадницей на воздухе. Казалось, вот они оба исчезнут, как появились.

Я наконец опомнился и бросился к ней. Клотильда, наклонившись, внимательно и беспокойно смотрела мне в глаза.

Ее глаза просили и, вероятно, получили, чего желали, потому что, держась за мою руку, она весело и легко соскочила на землю.

— Гоп-ла! — сказала она, слегка сжав мою руку, а затем не совсем уверенно спросила: — Принимают?

Переведя глаза на берег, мою палатку, море и весь вид, она радостно спросила:

— О, как здесь хорошо! Monsieur [1] Бортов, вы знаете, что это мне напоминает? Это напоминает мне, когда я росла около Марселя... А-а... Вот такой же берег и море, а внизу город... только там выше... и больше море...

Она протянула руку и быстрым жестом показала необъятность ее моря.

В это мгновение глаза ее сверкнули радостно, и она с душой, открытой ко мне, остановив глаза на мне, проговорила:

— Оставим мою молодость и будем жить настоящим. О, я очень рада, что monsieur Бортов взял наконец меня с собой. Он меня пугал, что вы рассердитесь.

Я решительно не мог ничего отвечать.

Бортов и Альмов ушли по работам, а мы с Клотильдой остались у палатки.

Как шел к ней костюм амазонки: стройная, оживленная, как ребенок.

— А-а, вы знаете,— говорила она серьезно мне,— это дворец, которому позавидовал бы царь... Я буду ездить к вам...

Глаза ее остановились и смотрели на меня ласково, безмятежно...

В общем, мы мало, впрочем, говорили. Что разговор? Мы говорили глазами. Взгляд идет в душу: он отвечает сразу на множество вопросов, и задает их, и получает ответы. И когда люди обмениваются такими взглядами, то уже им нет дороги назад. Зачем и вперед спешить? Если нет и там дороги, разве в этом все не та же непередаваемая радость жизни... Вот берег, усыпанный ракушками; золотистый фазан вылетел из лесу, сверкнул на солнце и исчез; а там тень и мой чертеж на столе, и Никита, взволнованный, спешит с самоваром. А! Это Никита? Мой денщик? О, какой симпатичный. Надо посмотреть его балаган. И мы идем к балагану. Она опять

---

[1] Господин *(франц.)*.

говорит о своей родине. А-а, это и есть моя Румынка? Она ходит с чепчиком? О, какая милая! И она целует ее в шею, а я стою в дверях и смотрю.

Я слышу ее вздох, полный, сильный, и все так бесконечно сильно и ярко, и мы уже идем с ней назад, оба такие удовлетворенные, счастливые, словно позволили нам выбрать лучший жребий и мы уже взяли его.

Навстречу идут Бортов и Альмов.

— А это?

Она показывает на мою палатку.

Я должен показать и палатку, и я показываю, смеюсь, извиняюсь. А Бортов поднимает крышку моего сундука и смеется, показывая Клотильде: там золото и серебро — и Клотильда, недоумевая, говорит: «О!..», и опять выходим на террасу, где и садимся пить чай.

Она сама хозяйничает — и надо видеть удовольствие Никиты. Он торжественно ставит бутылку вина на стол, смотрит на меня и спрашивает глазами: «Что, пригодилось?»

И опять мне говорят о том, как здесь хорошо, а я смотрю на Клотильду и думаю, что хорошо смотреть в ее глаза, на ее волосы, на всю ее — стройную, молодую, прекрасную, как весна.

Она чувствует, что не осталось во мне ничего, что не задела бы она во мне, и в ее глазах радость.

Я не сказал бы, что и она любила, но она ценила мое чувство... Я большего и не желал. Я и без того, мечтая о невозможном, получил его, потому что видел Клотильду, но без всего, что разрывало мое сердце на части. Может быть, это и иллюзия... Но кто сказал, что я хочу разрушать эту иллюзию? Не хочу. Поцеловать след ее и умереть я согласен сейчас же, но не больше. Словом, мы понимаем теперь хорошо друг друга, без слов понимаем, чего желают святая святых нас обоих...

— Вы хотите, чтоб она осталась с вами? — спросил Бортов, отводя меня в сторону.

— Ни под каким видом,— отвечал я, оскорбленный.

Бортов еще постоял и возвратился к палатке.

— Ну, что ж, пора и ехать,— проговорил он громко,— вы проводите нас? — обратился он ко мне.

— Проводите,— попросила Клотильда.

Я не стал заставлять просить себя и велел оседлать

себе три дня тому назад еще одну купленную за пятьдесят рублей донскую лошадь — Казака. Это была высокая и неуклюжая, как верблюд, горбатая, красно-гнедая лошадь.

— Зачем вы хотите ехать на Румынке? — спросила Клотильда.

Мне просто было стыдно ехать с дамой на лошади в чепчике.

— А Казак уносной,— возразил Никита,— свалит куда-нибудь в овраг.

— Не свалит,— ответил я.

— Что он говорит? — спросила Клотильда.

— Он говорит глупости,— сказал я.

— Когда ваш дом будет готов? — спросил меня Бортов.

— Я надеюсь в четверг перебраться.

— Я заеду к вам на новоселье,— сказала Клотильда.

— Я буду счастлив.

Нам подали лошадей, мы сели и поехали.

Я с большой тревогой следил за своим донцом. Раз всего я и пробовал его и, откровенно сказать, не чувствовал себя хорошо,— слишком сильная и порывистая лошадь. Особенно не нравилось мне, когда она вдруг, как заяц, прижимала назад уши и дергала изо всех сил. Ведь у казаков особенная выездка, и не знаешь сам, когда и как начнет лошадь проделывать свои заученные штуки,— понесет без удержу, ляжет вдруг, начнет бить задом или взовьется на дыбы. Где-то тронуть, где-то пощекотать — и готово.

И потому я только и старался, как бы не тронуть, не пощекотать. А донец, как нарочно, в соседстве с другими лошадьми горячился все сильнее.

Горячился и карабах Клотильды.

— Поезжайте вперед,— посоветовал мне Бортов.

Мы так и сделали.

Мы ехали почти молча, каждый успокаивая свою лошадь.

Так доехали мы до моста на Мандре, того понтонного, который я выстроил из старых барж.

За Мандрой к Бургасу тянулся уже отлогий песчаный берег до самого Бургаса.

Скалы, леса остались позади.

Взошедшая луна своим обманчивым зеленоватым

блеском осветила, как стол гладкую, безмолвную равнину. В мертвом серебристом свете неподвижно, как очарованные, торчали поля бурьяна и колючек.

Тут было не страшно, если б даже и задурил мой донец.

Мы подождали Бортова и Альмова и поехали вместе.

Клотильда, так недавно еще такая близкая мне, теперь опять как-то не чувствовалась. Предложение Бортова не выходило из головы.

Мне захотелось вдруг вытянуть плеткой донца между ушами.

Когда оставалось версты три до Бургаса, Бортов скомандовал: «марш-марш», и мы помчались. Карабах быстро и легко обошел всех лошадей. На своем верблюде я был следующий. Что за прыжки он делал!

Впечатление такое, точно я сижу верхом на крыше двухэтажного дома. И дом этот тяжелыми, не эластичными прыжками мчит меня. Но, как ни мчал он, карабах с Клотильдой был впереди. В первый раз я решился ударить плеткой донца.

Донец совершенно обезумел, рванулся и догнал карабаха. Поровнявшись с ним, я нагнулся и изо всей силы ударил карабаха плеткой. Это была бешеная скачка: свистел воздух, пыль слепляла глаза; пригнувшись, мы неслись.

— Надо сдержать немного лошадей, — крикнула Клотильда.— Мы подъезжаем к городу.

Лошадь Клотильды сейчас же отстала от меня, но я ничего уж не мог сделать с донцом: он закусил удила и нес.

— Я не могу остановить лошадь,— закричал я в отчаянии.

Я слышал, как Клотильда хлестала свою, чтоб догнать меня. Я напрягал все силы, но напрасно: донец уж несся по узким улицам Бургаса.

Толстый генерал, по своему обыкновению, сидел посреди улицы и пил кофе на поставленном пред ним столике, с двумя горевшими свечами.

Вероятно, он думал, что я нарочно несусь так, чтобы потом лихо и сразу осадить перед ним свою лошадь.

Я действительно и сделал было последнее отчаянное усилие, которое кончилось тем, что правый повод не

выдержал и лопнул, а донец после этого еще прибавил, если это еще возможно было, ходу.

Я успел только сделать отчаянный жест генералу: генерал отскочил, но и стол и все стоявшее на нем — кофейник, свечи, прибор — полетели на мостовую.

Мне, впрочем, некогда тогда было обо всем этом думать. Счастье еще, что вследствие позднего времени улицы были пусты. Но и без того мы с донцом рисковали каждое мгновение разбиться вдребезги. В отчаянии я сполз почти на его шею, ловя оборвавшийся повод. Мне удалось наконец поймать его в то мгновение, когда донец, круто завернув в какие-то отворенные ворота, влетел на двор и остановился сразу. С шеи его вследствие этого я в то же мгновение съехал на землю и сейчас же затем вскочил на ноги, в страхе оглядываясь, не видала ли Клотильда всего случившегося со мной. Но ни Клотильды, ни Бортова с Альмовым и слышно не было. Какой-то солдатик взялся доставить лошадь мою в гостиницу «Франция», а я сам, сконфуженный и печальный, не рискуя больше ехать на донце, пошел, оправляясь, пешком.

Наших и других городских знакомых я нашел уже в гостинице. Взволнованно, чуть не плача, объясняя всем и каждому, почему я так мчался, я показывал оборванный повод. Но мне казалось, что все-таки никто не верит мне, и даже Клотильда смотрела на меня какая-то задумчивая и равнодушная.

Только Бортов мимоходом бросил мне:

— Да оставьте... ребенок...

— Ну, как же не ребенок,— говорил Бортов уже за ужином, на котором присутствовали и Клотильда, и Берта, и Альмов, и Копытов, и еще несколько офицеров,— оказал какие-то чудеса в вольтижировке, сам донец ошалел, спас и себя и его от смерти, и еще извиняется.

Все рассмеялись, а Бортов тем же раздраженным тоном переводил то, что сказал мне, Клотильде.

У меня уже шумело в голове: не знаю сам, как я умудрился, чокаясь, выпить уже пять рюмок водки.

Клотильда радостными глазами смотрела на меня, а я, поняв наконец, что никто меня не считает плохим наездником, — хотя я был действительно плохим,— сконфуженный и удовлетворенный умолк.

— Выпьем,— протянула мне свой бокал Клотильда.

Я чокнулся и подумал: «Надо, однако, пить поменьше».

— Buvons sec[1],— настойчиво сказала Клотильда.

На что Бортов бросил пренебрежительно:

— Разве саперы пить умеют? — три рюмки водки и готовы...

Но я, войдя вдруг в задор, ответил:

— Не три, а пять,— и саперы умеют и пьют, когда хотят, лучше самых опытных инженеров.

Все рассмеялись.

— И, если вы сомневаетесь,— продолжал я, серьезно обращаясь к Бортову,— я предлагаю вам пари: мы с вами будем пить, а все пусть будут свидетелями, кто кого перепьет.

И, не дожидаясь ответа, я крикнул:

— Человек, бутылку шампанского!

Пока принесли шампанское, Бортов, пригнувшись к столу, смотрел на меня и смеялся.

Когда шампанское принесли, я взял два стакана, один поставил перед Бортовым, другой перед собой и, налив оба, сказал Бортову:

— Ваше здоровье.

Я выпил свой стакан залпом.

— Благодарю,— насмешливо ответил Бортов и также выпил свой.

Я опять налил. Когда бутылка опустела, я потребовал другую. После двух бутылок все мне представлялось с какой-то небывалой яркостью и величественностью: Клотильда была ослепительна и величественна, Бортов величественен, все сидевшие, даже Берта, были величественны. Я сам казался себе великолепным, и все, что я ни говорил, было умно и величественно. Я теперь точно с какого-то возвышения вижу все.

Клотильда начала было печально:

— Господа... вы молодые, сильные и умные...

— Не мешайте,— спокойно остановил ее Бортов.

Я тоже счел долгом сказать:

— Клотильда! Из всех сидящих здесь, из всех ваших друзей и знакомых никто вас не уважает так, как я!

Копытов фыркнул. Я остановился и грустно, многозначительно сказал:

[1] Выпьем *(франц.)*.

— Если я кого-нибудь обидел, я готов дать удовлетворение.

Тут уж все расхохотались.

Я посмотрел на всех, на Клотильду: она тоже смеялась. Тогда рассмеялся и я и продолжал:

— Так вот, Клотильда, как я вас люблю...

Клотильда, покраснев, сказала «Вот как»; Бортов же серьезно и флегматично заметил:

— Вы, кажется, говорили об уважении...

— Все равно,— заметил я,— не важно здесь то, что я сказал, а то, что есть. Я повторяю: я люблю... И пусть она прикажет мне умереть, я с наслаждением это сделаю...

— Браво, браво!

— Будем лучше продолжать пить,— предложил мне Бортов.

— И продолжать будем,— ответил я, наливая снова наши стаканы.

И мы продолжали пить. Какой-то вихрь начинался в моей голове, и лица, такие же яркие, как и прежде, уж не были так величественны, а главное, неподвижны. Напротив: я уже и сам не знал, с какой стороны я вдруг увижу теперь Клотильду.

Однажды она вдруг наклонилась надо мной, и я вздрогнул, почувствовав прикосновение ее тела.

— Клотильда, я пьян, но я все-таки умираю от любви к тебе...

Она наклонилась совсем близко к моему лицу и шепнула мне на ухо:

— Если умираешь, оставь это и пойдем со мной...

Ее слова были тихи, как дыхание, и обжигали, как огнем.

Я собрал все свои мысли.

— Я умираю и умру,— сказал я громко, чувствуя, что мое сердце разрывается при этом,— но с такой... не пойду...

Я крикнул это и, отвалившись на стул, исступленно, полный отчаяния, смотрел на мгновенно потухшие прекрасные черные глаза Клотильды: их взгляд, проникший в самую глубь моего сердца, так и замер там.

— Ну, это уж черт знает что,— раздался возмущенный голос рыжего интенданта,— зачем же оскорблять?

Какой-то шум, кажется, кто-то уходит. Я все сидел на своем месте. Что-то надо было ответить, кажется, но мысли и все вертелось предо мной с такой стремительной быстротой, что я напрасно старался за что-нибудь ухватиться.

И вдруг я увидел Бортова, который все так же сидел, пригнувшись к столу, наблюдая меня.

Я сразу развеселился и крикнул ему:

— Эй ты! Ванька Бортов! Шельма ты!.. Не юли, будем пить...

— Шампанского больше нет,— донеслось ко мне откуда-то.

Я мутными глазами обвел стол, увидел графин с ликером и сказал:

— Все равно, ликер будем пить.

И я стал наливать ликер в стаканы.

Это вызвало взрыв смеха, а Бортов сказал:

— Довольно, признаю себя побежденным.

— Ура!

И громче всех кричал я:

— Ура!...

Нас с Бортовым заставили целоваться.

Мы встали, качаясь подошли друг к другу, обнялись и... упали.

Смеялись все, и мы лежа на полу смеялись.

И мы опять сидели за столом. По временам на меня вдруг находило мгновенное просветление. Я заметил, что Клотильды уже нет между нами, что-то вспомнил и сказал печально Бортову:

— Пропили мы Клотильду.

В другой раз я заметил, что не только мы с Бортовым, но и все пьяны.

Альмов высунул язык перед каким-то офицером, уверяя, что видит свой язык в отражении медного лба офицера.

— Когда же они успели напиться? — спросил я.

И я опять все забыл.

Я помню улицу, освещенную луной, мы идем с Бортовым и постоянно падаем. Бортов смеется и очень заботливо поднимает меня.

Затем мелькает передо мной какая-то комната, лампа на столе, на полу сено и ряд подушек. Бортов все так же заботливо укладывает меня. Я лежу, какие-то

волны поднимают и опускают меня, я чувствую, что хочу объявить про себя что-то такое страшное, после чего я погиб навсегда. Я собираю последнюю волю и говорю сам себе:

— Замолчи, дурак.

И я мгновенно засыпаю, или, вернее, теряю сознание, чтобы утром проснуться с мучительной головной болью, изжогой, тоской, стыдом, всем тем, что называется катцен-яммер.

Я узнаю, что Бортов, возвращаясь обратно, шагнул прямо с площадки второго этажа вниз и расшиб себе все лицо.

Я еду к Бортову.

— Пустяки,— машет он рукой и смущенно прячет от света лицо,— лицо павиана с оранжевыми, зелеными, красными и желтыми разводами.

Бортов смотрит подозрительно.

Я торопливо говорю ему:

— Я ничего не помню, что вчера было.

— Было пьянство,— успокоенным голосом говорит Бортов.— Вы с Клотильдой свинство сделали...

Бортов смеется.

— Плакала, а интендант утешал ее... ругал, понятно, вас... Нет, говорит, хуже этих идеалистов: они любят только себя и свою фантазию, а все живое тем грубее топчут в грязь...

— Он хорош: вор...

— Про нас так же говорят,— кивнул мне головой Бортов.

Я иду в гостиницу «Франция», где остановился.

На дворе буря, дождь, рвет и крутит, и ни одного клочка ясного неба.

В голове моей и душе тоже нечто подобное и тоже никакого просвета. Единственный уголок — Клотильда, и тот тревожно завешен надвинувшейся рыжей фигурой отвратительного интенданта, который говорил мне вчера, потирая руки: «Эх, и молодец бы вышел из вас, если б с начала кампании к нам...» А потом кричал: «Это черт знает что...»

Надо выпросить у Клотильды прощение.... Я выпрошу...

Я нервно взбегаю по деревянной лестнице второго этажа и прирастаю к последней ступеньке: у дверей

девятого номера, номера Клотильды, стоят чьи-то рыжие, как голова интенданта, отвратительные сапоги.

— Мою лошадь седлать!—исступленно кричу я из окна коридора.

И через две-три минуты я уже на своем донце.

В каком-то окне встревоженно кричит мне грязная, в поношенном вицмундире, фигура армейского офицера.

— Башибузуки спустились с Родопских гор: ехать вам нельзя сухим путем...

Я вижу в другом окне быстро оправляющую свои волосы, в утреннем костюме, Клотильду, которая, перегнувшись, торопливо, растерянно лепечет:

— Мне необходимо что-то сказать вам...

Сразу темнеет у меня в глазах от вспыхнувшего или расплавившегося в каком-то огне сердца. Я опять пьян, я не хочу жить, я хочу мгновенно исчезнуть с лица земли. Вот удобное мгновение вытянуть плеткой донца между ушами. И я вытягиваю его изо всей своей силы.

О, что с ним сделалось... Он так и вынес меня из двора на задних ногах, свирепо поводя головой в обе стороны, как бы обдумывая, что ему предпринять.

Я вовремя, впрочем, успел направить его в ту сторону, куда лежал мой путь.

Башибузуки! Те самые, которые пойманных ими тут же сажают на кол... Но я живым не дамся в руки... Но со мной оружия — только тупая шашка... Все равно: после всяких мучений наступит же и смерть, а с ней и покой... После всех ужасов вчерашнего пьянства, этого сегодняшнего пробуждения и этого перехода из мира моих фантазий в мир реальный, такой отвратительный и гнусный... Я не хочу его...

И я жадно ищу глазами в пустом горизонте башибузуков...

Их не было. Я пришел в себя за Мандрой, где работали мои солдаты, болгаре, турки.

Унтер-офицер по постройке шоссе, ловкий, разбитной, красивый, по фамилии Остапенко, увидев меня, встал с камня, приложил руку к козырьку и отрапортовал:

— Здравия желаю, ваше благородие. По шоссе все обстоит благополучно. Солдат на работах сто семнадцать, турок пятьсот тридцать два...

— Болгар?
— Так что болгар нет...
— Надули, значит?
— Так точно.
— Так вот как...

Вчера явились ко мне болгаре и турки с просьбой отпустить их праздновать байрам.

Я объяснил им, что не могу этого сделать, так как через пять дней должна прийти 16-я дивизия и шоссе к тому времени нужно кончить.

Представитель рабочих турок, выслушав меня, мрачно ответил:

— Мы все-таки уйдем.

— Тогда в ваши казармы я поставлю солдат, и вы не уйдете.

— Ставьте, а без солдат уйдем.

Я обратился в болгарам:

— И вы уйдете, если не поставить к вам солдат?
— Нет, не уйдем.
— Даете слово?
— Даем.

К туркам поставили солдат, и они не ушли, болгаре ушли: века рабства даром не прошли.

Я поехал дальше по работам и старался отвлекать свои мысли.

Но болела душа: все стояла Клотильда, растерянная, напряженная, озабоченная, в окне, и все слышал я ее лепет. Я гнал ее, но, когда нестерпимо больно становилось, в ней же и находил какое-то мучительное утешение.

VII

В назначенный день мы с Никитой перебрались в наш новый домик.

Никита сейчас же после переборки уехал в город — купить скамью, два-три стула и еще кой-каких мелочей для нашего нового жилья.

Я остался один — пустой и скучный, в тон погоде.

Все эти дни бушевала буря, а сегодня на дворе делалось что-то выходящее из ряду вон: море даже в нашем заливе клокотало, как кипящий котел. Низкие

мокрые тучи в вихрях урагана низко неслись над землей, смачивая все сразу и без остатка.

Приезжал вчера Бортов и в числе новостей сообщил, между прочим, что Берта бранит меня на чем свет.

— За что? — удивился я.

— За Клотильду.

— То есть за что, собственно?

— Не знаю хорошо: кажется, Клотильда порывается к вам, а Берта... Не знаю... Собственно, Клотильда добрая душа... Берта знает ее историю: она начала эту свою дорогу, чтоб спасти свою семью от нищеты... И так обставила все, что семья же от нее отвернулась... Вы тогда вечером и потом подчеркнули ей слишком уж резко ее положение... Самолюбие страдает... Может быть, и заинтересовалась вами...

— Ну...

Бортов уехал, а я остался смущенный и вчера и сегодня не нахожу себе места.

Мне уж только жаль несчастную Клотильду.

Вчера на ночь открыл и прочел из Гюго:

Не клеймите печатью презренья
Тех страдалиц, которых судьба
Довела до стыда, до паденья!
Как узнать нам, какая борьба
У несчастной в душе совершалась,
Когда молодость, совесть и честь —
Все святое навеки решалась
Она в жертву пороку принесть.

Может быть, про Клотильду и писал он это.

Сегодня как раз новоселье,— тогда Клотильда хотела приехать. Теперь не приедет, конечно.

В реве бури вдруг раздается как будто вопль—жалобный, хватающий за сердце. Как будто среди осеннего рева в лесу вдруг послышался робкий, торопливый, испуганный лепет Клотильды... Плачет лес: прозрачные, чистые, как кристалл, капли падают с мокрых листьев.

Не приедет Клотильда. В такую бурю, после того, что случилось... Угадать, что я хочу ее, что я простил бы ей все, все...

. . . .

Я держал ее в своих объятиях, мокрую, вздрагиваю-

щую, с лицом испуганно прекрасным, полным радости и счастья жизни.

О, какими ничтожными оказались вдруг все барьеры, отделявшие нас друг от друга... И разве не главное и не самое реальное — была она в моих объятиях со всей своей душой, каким-то чудом спасшаяся от гибели в ничтожной лодке, чудом, отворившим ей вход в мое сердце, к той, другой, Клотильде. Обе они теперь слились в одну. Или вернее: та, другая, погибла в том клокочущем море.

И, когда прошел первый порыв свидания, оба смущенные, мы направились в мое нищенски-скромное жилище.

И Никиты даже не было.

Но как хорошо нам было без него. Наше смущенье быстро прошло, и она энергично принялась за хозяйство.

— Я тебе все, все сама устрою... Никаких денег не надо... Из негодных тряпок — у меня их много, — из простых досок и соломы твой домик я украшу, и он не уступит дворцу.

Я ставил самовар, а она, засучив рукава и подоткнув платье,— это было изящно и красиво,— мыла посуду, вытирала ее, резала хлеб. Достала муку, масла, яиц,— перерыв всю кладовую Никиты,— и приготовила сама какие-то очень вкусные блинчики. Сварила кофе, молоко, кафе-оле[1] с блинчиками, поджарила на масле гренки, ароматные, вкусно хрустевшие на ее жемчужных зубах.

Вытянув ноги, она сидела и ела их с налетавшей задумчивостью, которая, как облако — остаток бури в чистом небе,— еще ярче, еще свежее подчеркивала радость и блеск солнца, неба, моря.

Она вслух думала о том, как она все устроит в моем доме, и новые и новые подробности приходили ей в голову.

Иногда она вдруг перебивала себя и лукаво говорила:

— Нет, теперь я не скажу тебе этого.

А глаза ее так радостно сверкали, и ей хотелось уже сказать — и она говорила торопливо:

[1] кофе с молоком (от *франц.* café au lait)

— Ну, хорошо, хорошо, я скажу тебе... Но ты знаешь? Даже этот дом напоминает мне наш, около Марселя... Ах, если б ты видел меня тогда... У меня есть младшая сестра.... Она даже похожа на меня... Поезжай и познакомься с ней: если ты меня... ты влюбишься в нее.

— Ты пустила бы меня?

— О, если б ты знал ее...

Она смущенно, кокетливо смотрела на меня.

— Но я, кроме тебя, никого не хочу!

И я обнимал ее, я смотрел ей в глаза, я видел, я держал в своих объятиях мою Клотильду, дивный образ моей души, с прибавлением еще чего-то, от чего в огонь превращалась моя кровь, спиралось дыхание и голова кружилась до потери сознания.

Я словно нашел двери для входа в волшебный замок.

До сих пор я видел его со стороны, издали. Теперь я был в нем, внутри, я был хозяином его, и вся власть колдовства была в моих руках.

Я мог очаровывать себя, других, Клотильду. Я мог заставлять себя, всех и вся делать то, что только я хотел.

Я хотел любить, безумно любить. И я любил. И был любим. Я достиг предела.

В блеске луны я лежал и слушал Клотильду. Я смотрел на ее руку, как из мрамора выточенную, на которую облокотилась она, говоря и заглядывая мне в глаза; смотрел на ее фигуру, лучшего скульптора изваяние, и слушал.

Она опять говорила мне о Марселе. Как счастливо жила она там в доме своих родных, как называли ее за ее пенье веселой птичкой дома. На свое горе привлекала она всех своей красотой,— случилось несчастие с ее отцом, и должны были все продать у них... ничего не продали, но она продала себя и ушла из родных мест навсегда... А затем началась та жизнь, в которой за право жить она платила своим телом...

И она рассказывала мне эту жизнь. Какая жизнь!

— Ты понимаешь....

Она наклонилась ближе ко мне, глаза ее задумчиво смотрели пред собой, она еще доверчивее повторила:

— Ты понимаешь... он, который так клялся,— он клялся,— благодаря которому я и попала в больницу,—

он бросил меня... Нищая, через шесть месяцев я вышла опять на улицу, чтоб в третий раз все, все начать сначала...

Она говорила, и завеса опять спадала с моих глаз. Я хотел крикнуть ей: «Замолчи, замолчи!» Но она говорила и говорила, изливая мне свою накопившуюся боль.

И, чем больше я слушал ее, тем сильнее чувствовал опять ту Клотильду, которая поет там.... которая.... никогда моей не будет... о, как я вдруг сознал это!

Напряженные нервы не выдержали,— я разрыдался неудержимо, и в этих рыданиях и воплях было все горе и боль моего разорвавшегося сердца.

— Милый... но что с тобой? Милый...— твердила испуганно Клотильда.

Что было отвечать ей?

Когда я пришел в себя и успокоился, я сказал ей:

— Это прошло.

— Но почему же ты вдруг так заплакал?

— Потому что... я люблю тебя.

— Ты плакал потому, что любишь?..

И Клотильда, откинувшись, смотрела на меня взглядом человека, который вдруг увидел сон наяву...

Как будто даже испуг сверкнул в ее глазах.

Затем торопливо, судорожно она обхватила руками мою шею и осыпала мое лицо поцелуями. Она делала это не с обычной грацией: торопливо, жадно, каждый раз поднимая голову и смотря мне в лицо, как бы желая еще раз убедиться, что это не сон. Я отвечал, как мог, подавляя в себе отчаяние, под страхом смерти боясь выдать свои чувства.

Засыпая потом, она сказала усталым, счастливым голосом:

— Мне кажется, что я опять в Марселе.

И уже совсем засыпая, она чуть слышно прошептала:

— Это лучше...

Я лежал, боясь пошевелиться, так как она уснула на моей руке, лежал, счастливый, что она уже спит. Лежал опять раздвоенный и несчастный, как только может быть несчастен человек.

Я так и заснул и все помнил во сне, что что-то около меня, что-то очень хрупкое, ценное и что достаточно малейшего движения, чтобы это что-то разбилось навеки.

Мы и проснулись так, в той же позе и чуть ли не в одно время. По крайней мере, когда я открыл глаза, сейчас же и она посмотрела на меня, и взгляд ее был свеж, как роса того ясного утра, что смотрело в наше окно.

Она улыбнулась мне той счастливой бессознательной улыбкой, которой улыбаются только без конца охваченные счастьем любви люди.

Она одевалась, напевая свои песенки.

— Вот самая любимая наша песня.

И она запела вполголоса:

Ah, monsieur, si tu n'as pas vu
Une kermesse dans notre village,
Ah, monsieur, si tu n'as pas vu,
Tu n'as rien vu ni su, ni connu[1].

Ах, надо непременно, чтоб ты когда-нибудь приехал к нам... Ах, как там хорошо. Погода всегда вот такая же прекрасная.

Сегодня опять был ясный день. Блеск и аромат его наполняли всю комнату: озабоченно щебетали птицы, доносился глухой шум не успокоившегося еще моря, слышны были энергичные удары сотни топоров, работавших в бухте.

Никита возвратился из города.

Я стеснялся его, но Клотильда быстро освоилась — и у них с Никитой сразу установились такие отношения, как будто все это так и должно было быть. Никита говорил Клотильде: «ваше благородие», и в конце концов они вместе принялись за приготовление завтрака.

— Будем завтракать под этим деревом,— сказала Клотильда, показывая на одно из каштановых деревьев.

Мы там и завтракали на виду всей теперь оживленной бухты.

В бухте уже несколько дней как шла грузка. Группы солдат, офицеров, их жен, детей; у заканчивающейся пристани пароходы, барки; в глубине долины бараки для солдат, бараки для офицеров, к которым вплоть подходило красиво ощебененное шоссе. Целый городок вырос там, где еще недавно стояла только моя палатка, а в

[1] Ах, господин, если ты не видел
Гулянья в нашем селе,
Ах, господин, если ты не видел,
Ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь *(франц.)*.

дебрях соседнего леса валялся тогда труп несчастного хохла-погонщика. Теперь и там, в лесу, в широкой просеке шоссе и оживление и говор на нем безостановочно двигающихся эшелонов возвращающихся в Россию войск.

Во всей этой теперешней суетливой пристанской жизни чувствовалось что-то очень упрощенное, домашнее: солдаты грузились, жены офицеров у своих бараков, в домашних костюмах, укладывали или раскладывали свои вещи, возились с детьми; им помогали денщики, то и дело прибегавшие ко мне за молоком, хлебом, яйцами, котлетами, потому что, кроме, как у меня, здесь в бухте негде было ничего достать.

— Ваше благородие, опять прибегли: масла просят,—докладывал Никита.

Никита не в убытке,— он получает щедрые «на водку».

Пока жены укладываются, мужья их с шапками на затылках, с расстегнутыми мундирами, в туфлях, группами стоят на пристани, наблюдая за нагрузкой, ругаясь за проволочки, за неоконченные еще кое-где пристанские работы. Может быть, теперь они смотрят по направлению моего домика и злобно говорят:

— Ему что? набил карманы и прохлаждается с мамзелью...

И я был рад, когда после завтрака ничего не подозревавшая о теперешнем моем душевном состоянии Клотильда уехала наконец.

VIII

Мне остается уже немного рассказывать.

Все подходило к концу.

Через месяц и мы, последние, возвращались на родину.

Через две недели после описанного в предыдущей главе закрылся за отсутствием публики кафе-шантан.

За это время я несколько раз виделся с Клотильдой, но Бортов был прав, сказав когда-то, что после первого ужина все это кончится.

Это и не кончилось, но лучше бы было, если б кончилось. Выхода не было. Чем дальше, тем яснее это становилось.

Не верил я и глубокому чувству Клотильды: она все продолжала петь, и я не знаю, как проводила она свое время. Прекрасная, как нежный воздух южной осени, она была и вся сама только этим воздухом.

Так по крайней мере мне казалось, так я думал, сомневался, переходил от отчаяния к вере, и опять перевес брало отчаяние.

IX

Нет, и окончательно нет: все это должно кончиться и кончится завтра, потому что завтра Клотильда на частном пароходе уезжает в Галац, куда уже приняла ангажемент.

И, конечно, это хорошо. Довольно жить в мире фантазии: она не любит. Если б она была способна на действительную любовь, если б это была любовь, разве могла бы она после той ночи возвратиться назад, петь в тот же вечер...

Все равно...

Надо сделать ей подарок на прощанье — и конец всему.

Что ей драгоценности? Да у меня и денег столько нет, чтоб купить что-нибудь порядочное.

Я купил хорошенький кошелек и положил туда десять золотых.

X

Утром сегодня я провожаю Клотильду.

Я уклонился и ночь провел один у себя в бухте.

Чужой всему, спокойный и холодный, я еду на катере в город. На пристани я уже вижу вещи Клотильды.

Вот и она в окне гостиницы, спокойная, задумчивая. Увидев меня, она кивнула мне головой, слабо улыбнулась, все такая же равнодушная.

Я и теперь вижу ее в этом окне, в блеске воскресного утра — ее прекрасное детское личико в рамке чудных волос, ее глаза, задумчивые и грустные.

Когда я вошел в ее комнату, она все еще стояла в той же позе.

Лениво оглянулась, лениво, как уронила, сказала:

«Пора», машинально надела шляпу, машинально пошла к двери, даже не поздоровавшись со мной.

Это обидело и еще более расхолодило меня: на что я ей, и к чему, конечно, играть ей теперь со мной?

Я ехал с ней на катере чужой, чопорный, деревянный.

Она сперва не замечала ничего, о чем-то задумавшись, но потом, оглянувшись на меня, долго смотрела, ловя мой взгляд, и, не поймав, положила свою руку на мою.

— Матросы смотрят,— тихо сказал я, отводя ее руку.

Она покорно сложила свои руки у себя на коленях, и мы молча подъехали к пароходу.

— Перейдем туда на корму, где эти канаты,— торопливо сказала она.

Мы прошли туда. Перед нами как на ладони был Бургас, моя бухта: все чужое теперь, как чужая уже была эта Клотильда, которая через несколько минут навсегда исчезнет с моего горизонта... как и я исчезну с ее...

— Здесь никого нет...

Клотильда бросилась мне на шею. К чему все это? Я поборол себя, обнял, поцеловал ее и, с неприятным для себя напряжением, сказал, кладя приготовленный кошелек ей в руку:

— Клотильда... здесь немного на твои дорожные расходы...

И только сделав и сказавши это, я почувствовал всю неловкость сделанного мною — почувствовал в ней, в ее взгляде, ее движении, которым она не дала мне положить кошелек ей в руку.

Я совершенно растерялся, положил кошелек где-то на свертке канатов и, так как в это время уж раздавался третий свисток, торопливо поцеловав ее, бросился к трапу.

Она даже не провожала меня: все кончилось, и кончилось очень пошло и глупо.

— Может быть, обиделась она, что я мало даю?.. Опытной рукой, коснувшись кошелька, она, конечно, могла сразу определить, сколько там. Но откуда же я мог дать больше? Э, все равно... Я в лодке, и пароход уже проходит мимо нас. Вот место, где мы стояли с Клотильдой... Клотильда и теперь там... она плачет?! Слезы... Да, слезы льются из ее глаз. Она стоит неподвижная,

она не видит меня, она смотрит туда, где моя бухта... Боже мой, неужели я ошибался и она любит?!

Клотильда?!

Поздно...

В блеске дня она стоит там на высоте, и все дальше и дальше от меня. Только лазоревый след винта расходится и тает в безмятежном покое остального моря.

Все недосказанное, все проснувшееся — что во всем этом теперь?..

И я могу еще жить, двигаться? И надо сходить с баркаса, идти опять по этой набережной,— где только что еще лежали ее вещи,— видеть окно, где стояла она, окно, теперь пустое, как взгляд вечности на жалкое мгновение, в котором что-то произошло... жило... и умерло... умерло...

— Моя мать умерла,— встретил меня Бортов.

«Хорошо умереть»,— мертвым эхом отозвалось в моей душе.

— Хорошо для нее,— ответил Бортов, как будто услыхав мою мысль.

Бортов спокоен, уравновешен.

— Теперь не буду тянуть с делом,— в две недели все отчеты покончу.

Он меняет разговор:

— Проводили Клотильду?

— Проводил.

— Берта говорит, что она уехала в долгу, как в шелку. После той поездки к вам она ведь всю практику бросила. Берта все время кричала ей: «Дура, дура...» Зла она на вас и говорит: «Только я поймаю его, я ему все глаза выцарапаю за то, что испортил бедную девушку».

— Да не мучьте же! — хотел я крикнуть, но не крикнул, стиснув железными тисками свое сердце, чтобы не кричать, не выть от боли. Я только бессильно бросил Бортову:

— Позвольте мне теперь уехать к себе,— вечером или завтра я приеду.

Я вышел, ничего не помня, ничего не сознавая.

К себе домой?.. Что там? Я не знал что... Может быть, там, в том домике, я опять увижу Клотильду...

Я приехал. Я в своей спальне, той спальне, где была Клотильда, и с ней все мое счастье, которого я не понял, не угадал и потерял навсегда...

Я очнулся для того, чтоб теперь беспредельно понять это, чтоб упасть на кровать, где лежала она, в безумном порыве стремясь к той, которая уже не могла меня видеть и слышать. Что мне жизнь, весь мир, если в нем нет Клотильды?!.

Пусть для всего этого мира Клотильда будет чем угодно, но для меня Клотильда мир, жизнь, все. Пусть мир не любит ее, я люблю. Это мое право. И все силы свои я отдам, чтоб защитить это мое право, мою любовь, мою святыню.

— А что мешает мне?!

Я сел на кровать и, счастливый, сказал себе:

— О, дурак я! Это ведь просто устроить. Я женюсь на Клотильде!

С какой страстной поспешностью я сел писать ей письмо. Я писал ей о своей любви, о том, что поздно оценил ее, но теперь, узнав все, оценил и умоляю ее быть моей женой. Через две недели я приеду к ней в Галац, и мы обвенчаемся.

Письмо я сам сейчас же отвез в город на почту, а оттуда отправился к Бортову.

— Что за перемена? — спросил Бортов, увидя меня веселого.

Я был слишком счастлив, чтоб скрывать, и рассказал ему все.

— Если хватит твердости наплевать на все и вся — будете счастливы, если только это все и вся не сидит уже и в вас самом.

Прежде чем я успел что-нибудь ответить, влетела Берта бешеная, как фурия, и, круто повернувшись ко мне спиною, что-то зло заговорила по-немецки Бортову.

— Знаешь, что он сделал?

Берта вскользь бросила на меня презрительный взгляд, выражавший: «Что эта обезьяна могла еще сделать?»

— Предложение Клотильде.

— Какое предложение? — переспросила такая же злая Берта.

Бортов рассмеялся, махнул рукой и сказал:

— Ну, жениться хочет на Клотильде... heiraten...

— Он? — ткнула на меня пальцем Берта.

Она еще раз смерила меня и вдруг так стремительно

бросилась мне на шею, что я чуть не полетел со стула.

— Это я понимаю,— сказала она после звонкого поцелуя,— это я понимаю.

Она отошла от меня в другой конец комнаты, сложила руки и тоном, не допускающим никаких сомнений в аттестации, сказала:

— Благородный человек!

Бортов рассмеялся и спросил ее:

— Может быть, и ты выйдешь за меня?

— Нет,— ответила Берта.

— Знаю,— кивнул ей Бортов,— у нее ведь жених есть там, на родине.

— Худого в этом нет,— ответила Берта.

И опять, обращаясь ко мне, сказала:

— Ну, я очень, очень рада. Клотильда такой добрый, хороший человек, что никому не стыдно жениться на ней.

Затем с немецкой деловитостью она осведомилась, когда и как сделано предложение и послано ли уже письмо.

Я должен был показать ей даже квитанцию. Удовлетворенно, как говорят исправившимся детям, она сказала мне:

— Хорошо...

Затем, попрощавшись, ушла в совершенно другом настроении, чем пришла.

XI

После подъема опять я мучаюсь. На этот раз не сомненьями, а тем, как все это выйдет там дома. Для них ведь это удар, и мать, может быть, и не выдержит его.

В сущности, нравственное рабство: целая сеть зависимых отношений, сеть, в которой бессильно мечешься, запутываешь себя, других. И это в самой свободной области — области чувства, на которое, по существу, кто смеет посягать? Но сколько поколений должно воспитаться в беспредельном уважении этого свободного чувства, сколько уродств, страданий, лжи, нечеловеческих отношений еще создастся пока...

Время идет скучно. Без радости думаю о свидании и с Клотильдой и с родными. Укладываюсь, Никита по-

могает мне, и я дарю ему разные, теперь уже ненужные мне, вещи.

Вчера продал Донца — на Дон, и увели его.

Румынка здесь в городе уже возит воду.

Вчера с Бортовым мы отправили наш отчет по начальству.

Бортов, чтобы распутаться с долгами и пополнить наличность, продал свой дом, в котором жила его мать. Выслал уже доверенность, и деньги ему перевели.

Он показал мне толстый кошелек, набитый золотом:

— Три тысячи еще осталось.

XII

Проводили сегодня и Берту на пароход.

Я вошел к Бортову как раз в то время, когда Бортов передавал ей тот самый кошелек, который я уже видел.

Оба они смутились.

— Может быть, я не возьму? — сказала Берта и, скорчив обезьянью физиономию, быстро схватила кошелек.

Почувствовав его вес, она растрогалась до серьезности.

— О-о! Это слишком...

— Прячь, прячь... до следующей войны, может быть и не так скоро еще...

— Скоро: я счастливая...

Она спрятала деньги и сказала:

— Ну, спасибо.

Берта сочно поцеловала Бортова в губы.

— Хорошо спрятал мой адрес?

— Хорошо, хорошо...

— А о том не думай! — слышишь: не думай! И лечись.

— Ладно...

— Не будешь лечиться, сама приеду. Слышишь?

— Ладно. Пора — пароход ждать тебя не станет.

— Allons! [1]

Берта была в духе и дурачилась, как никогда.

---

[1] Идем! *(франц.)*

Ломая руки, как марширующий солдат, она шла по улице и пела:

Oh ja, ich bin der kleine Postillion,
Und Postillion, und Postillion —
Die ganze Welt bereist ich schon
Bereist ich schon, bereist ich schon...[1]

Когда мы возвращались назад с парохода, Бортов говорил:

— Каждому свое дело, а если нет аппетита к нему— смерть... Берта имеет аппетит. Год-два поработает еще, воротится на родину, найдет себе такого же атлета, как сама,— женятся, будут пить пиво, ходить в кирку, проповедовать нравственность и бичевать пороки... Творческая сила.... Чрез абсурд прошедшая идея годна для жизни... Для этого абсурда тоже нужна творческая сила: Берта такая сила, здоровая, с неразборчивым, может быть, но хорошим аппетитом.

Бортов замолчал и как-то притих.

Он по своему обыкновению пригнулся и смотрел куда-то вдаль.

Чувствовались в нем одновременно и слабость и сила. Но как будто силу эту, как доспехи, он сложил, а сам отдался покою. Но и в покое было впечатление все той же силы — в неподвижности, устойчивости этого покоя.

Я думал раньше об этой разлуке его с Бертой. Зная, что и мне он симпатизировал, думал весь день провести с ним. Но теперь я как-то чувствовал, что никто ему не нужен.

Только в пожатии его руки, когда я уходил на почту за письмом матери, я как будто почувствовал какое-то движение души его.

Я шел и думал: «Он все-таки любил Берту».

Доктор Бортова открыл мне тайну: Берта и виновница его болезни. Болезнь, от которой он упорно не хочет лечиться. Сам запустил...

Во всяком случае, это его дело. Что до меня, я всей

---

[1] О, я маленький почтальон,
Почтальон, почтальон —
Я обошел уже весь свет,
Обошел, обошел... *(нем.)*

душой полюбил и уважал этого талантливого, прекрасного со всеми его странностями человека.

Я шел и мечтал: я женюсь на Клотильде, мы будем жить возле него или он у нас будет жить, и мы отогреем его.

Мечтая так, я опять уже чувствовал и радость жизни и радость предстоящего свидания с Клотильдой.

Уже скоро...

На почту я шел за письмом матери, а получил какой-то конверт с незнакомым и плохим почерком.

Еще больше удивился я, когда на большом почтовом листе, на четвертой странице мелко и неразборчиво исписанного листа прочел: «Вечно твоя Клотильда». Я не ждал от нее письма и тут же на улице, присев на скамью, стал читать. Я читал, понимал и не понимал: Клотильда отказывала мне.

Вот выдержки из ее письма:

«О, если б я встретила тебя тогда, когда жила в нашем доме около Марселя... Я дала бы тебе счастье — большое счастье, клянусь тебе! Но теперь... слишком невеликодушно было бы воспользоваться твоей наивностью, мой милый, дорогой...»

«Одно время я поверила,— несмотря на всю мою рассудительность,— в счастье с тобой. Но с отчаяньем и смертью в душе я скоро поняла... поняла, что даже для меня — все несчастной, наше сближенье было бы венцом всех моих несчастий. Мой дорогой! Это не упрек. Нет в моем сердце упрека, и не за что упрекать тебя. Всегда ты останешься для меня, каким я знала тебя и любила...»

Вот конец письма:

«Прощай... Надо кончать, а я не могу, потому что знаю, что в последний раз говорю с тобой. Завтра я уезжаю отсюда навсегда. Не ищи: мир большой, и я затеряюсь в нем, как песчинка. О, как страдаю я, отнимая от самой себя все лучшее, о чем могла я только мечтать в жизни, что и дало мне теперь жизнь, так поздно...»

— Не поздно! завтра же я еду и найду тебя!

И с письмом в руках я бросился к Бортову.

— Нельзя... трохи повремените...— встретил меня растерянный, бледный Никита, заграждая своей фигурой и руками вход.

— Почему?!

— Бо маленькое несчастье случилось: его благородие ранили себя.

— Как ранил?!

— Так точно: бо вже застрелились они...

Никита растерянно-недоумевающе уставился на меня. Я уже стоял пред постелью Бортова.

Бортов неподвижно лежал на кровати в пол-оборота. Из красного отверстия его правого виска высунулась наружу какая-то алая масса, и с подушки на пол слилась небольшая лужа крови. На полу же валялся и револьвер, а правая рука, из которой, очевидно, выпал револьвер, вытянулась вдоль кровати. Бортов точно прислушивался к тому, что скажу я.

Я ничего не говорил, стоял ошеломленный, раздавленный. Ни письма, ни записки...

Напряжение точно слушающего человека понемногу сошло с лица Бортова, и лицо его стало спокойным, как будто задумчивым.

Эта задумчивость потом усилилась и все становилась сосредоточеннее и угрюмее.

На другой день мы отнесли его на кладбище.

Шли войска, играла музыка, но он оставался все таким же сосредоточенным и угрюмым, навеки отчужденным от всего живого.

XIII

Два дня еще — и я уже прощался с этими местами, стоя на отходившем в Галац пароходе. В этой умирающей осени, с желтым золотым листом, ярким солнцем и голубым небом, и я чувствовал пустоту, какую чувствуют после похорон...

Прощай, Бортов... Береги его прах, Болгария: он один из тех спящих в твоей земле, которые дали тебе лучшую, чем сами получили, долю.

Прощай, Болгария! отныне свободная, будь прекрасна навеки, как твои женщины, как твоя природа...

Я не нашел Клотильды в Галаце...

Пронеслись года. Жизнь моя сложилась иначе, чем я думал тогда. Я много пережил, понял, видел много

зла в жизни... И чистый образ Клотильды все ярче и ярче в моей душе...

Жгучей болью наполняется мое сердце каждый раз, когда я вспоминаю, как тогда в лодке я оттолкнул ее руку. О, если б теперь я мог крикнуть на весь мир, чтобы услыхала она меня, я крикнул бы ей:

— Клотильда, дай пожать тебе руку! тебе, властной неведомой мне силой заставившей меня любить и вечно страдать за поруганную правду человеческого естества.

1899

БАБУШКА

I

Большое место. Больше остального города. И все огорожено высоким кирпичным забором. Забор окрашен красной краской и разделан белыми полосками под кирпич. Главный дом в два этажа, такой же кирпичный и с такой же разделкой, выдвинулся и угрюмо смотрит сверху на город, большую реку, широкой стальной лентой теряющуюся в мглистой дали синих лесов. Ворота тяжелые, с пудовыми скобами и с большими висячими замками. Калитка рядом. Она отворена, и виден мощеный двор, кругом двора строения — тяжелые, прочные, все на замках. Дальше другой двор, где фабрика, ряд высоких труб, снует озабоченный народ, тянутся обозы кож — сырых, выделанных.

Сама бабушка осмотр делает. Заглядывает во все закоулки. Остановится, спросит, выслушает, сделает замечание и — дальше.

Сзади бабушки тяжело шагает желтый, как тесто, и такой же сырой внучек — Федя, двадцатидвухлетний парень. Глаза у него ласковые, задумчивые, шея короткая. Бабушка косится на него, на толпу приказчиков, идет и думает свою заветную думу.

Внук не в бабушку. Шестьдесят лет ей, а стройна, как девушка, лицом суха, глаза большие, черные, голова повязана черным платком. И теперь красота видна, а в молодости первой красавицей на две большие реки, Волгу и Каму, слыла.

Что красота! Так умна бабушка, как и мужик редко бывает, и твердо ведет большое, на пять губерний, кожевенное дело.

И ни одного худого слуха про бабушку не было и нет. Тверда в старинном благочестии, и без ее воли не то что попа — архиерея не посадят.

Уезжала бабушка и целый месяц была в отлучке: внуку невесту искала.

Приехала, в бане помылась, в часовне обедню отстояла, завод теперь осматривает, обедать сядет, после обеда поспит, а потом за внуком пошлет и объявит ему его судьбу.

Федя одет по-городскому, идет за бабушкой, добродушно посматривает на ее старомодный костюм и угадывает, что-то скажет она ему.

Со вчерашней гульбы с приказчиками голова его тяжелая, да и вообще неохота о чем-нибудь думать: пообедать да спать, а вечером, когда бабушка уляжется,— к ребятам... Эх, и весело же пожили без бабушки!

Подошли к дому, остановилась бабушка на крыльце, оглянула всех и сказала:

— Ну, хоть и не так-то в порядке, как надо бы, да бог с вами на этот раз: приходите все обедать — икорки, да рыбки, да соленьев из далекой страны привезла.

Весело загудела толпа, угадывая истину.

Старший приказчик сказал:

— Дай бог, Анфиса Сидоровна, чтоб далекая да чужая сторона — близкой да родной стала.

Все весело смотрели на Федю; а он, как девушка, покраснел и глаза потупил.

И бабушка смотрела на него:

— Воля божия...

Бабушка ушла, а по заводам молнией разнеслось: женят наследника. Свадьба, гулянье, женится — дети пойдут, обеспечится дело, а с ним кусок хлеба тысячам.

Проснувшись после обеда, бабушка позвала не внука, а няню покойного своего сына.

В низкой комнате, с большой изразцовой печкой и лежанкой, с божницей во весь угол, со столом, покрытым скатертью, поверх которой стояли теперь самовар, сушки, крендели, пахло травами, лампадным маслом, свечами из чистого топленого воска,— пахло стариной, миллионами, десятками миллионов.

— Ну, садись, слушай — все тебе выложу, и суди меня: умно или глупо я сделала дело. Первым делом в Елабугу я поехала к сводному брату. Два дня погостила — примечательного ничего, и дальше. Ну, словом, Каму изъездила, Вятку изъездила, Белую — там-то и вовсе опустел народ,— тут в Перми приметила одну, хотела уж было к ней ехать, да все слышу то тут, то там— про Кунгур мне шепчут...

— Коренного благочестия сторона, — вздохнула нянька.

— Дочь лесовика. И лесам счету нет, и деньгам, и сама-то красавица писаная, и семья старого благочестия, хоть уж не очень так, не до дикости: дочка, как мой же, по-городскому одевается. Бежим мы по Каме пароходом,— я уж, значит, порешила было в Пермь ехать,— снится мне сон, что в лесу я. Ели высокие, до неба, мохнатые, иду я, оглядываюсь, без дороги...

— Страсти-то какие! — снова вздохнула нянька.

— А ты слушай, то ли будет еще... Вдруг прямо на меня медведь — аграмадный, на задних лапах, прямо на меня. Хочу я крикнуть, нет голоса, а он навалился на меня да мордой тычет в лицо, тычет, а морда мохнатая, да мягкая...

— Это к добру: это свой же домовой по тебе соскучился...

— А тут человечьим голосом, да как из ружья: Федю.

— Вещий сон...

— Ну, вот: пришла я в себя, стала соображать и проехала прямо в Кунгур... Ну, вот что я тебе скажу: живут проще нашего, а капиталов там, имущества не меньше, и одна, как перст божий... Матрена... Девка — не хуже, как я была...

— Ну, быть этого не может...

— Сама увидишь.

— И увижу, не поверю: не было и не будет красавицы против тебя...

— Ну, пустое толкуешь... Высокая, статная, коса как канат якорный, шея длинная, кряжистая, лицом красавица, брови дугой, глаза серые — диво, а не девка. В баню с ней ходила, все высмотрела. Бедра — во! Тройню, и то не крякнет, родит... Ну, спеси маленько будет, нрав есть, да ведь я не такая ли была? Вахлаку-то нашему только польза. Так уж во всем роду ведется: бабы

верховодят. В одном только и верх их: и мать его, и я, и мужнина мать — ведь все бабы какие? Шеи длинные, а перебить не можем их род: как ни уродится, опять шея короткая... глядишь: опять к тридцати пяти годам, когда только и жить бы, нальется и лопнет, как гнилой пузырь.

— Бог милостив, — вздохнула нянька, — новая-то, может, и перебьет... Вишь, медведь тебя мял, у себя в лесу — вроде того, что на свою линию перевернул дело...

— Дай бог, дай бог. Ну что ж, как по-твоему: хвалить или ругать меня надо?

— Ну, ругать... этакую умницу: какое дело сделала. И своего девать некуда, а тут столько же еще, да и пава сама притом... И намучалась же, поди! устали тебе нет... по заводам пошла, туда, сюда: как молоденькая ровно... Фу, фу, чтоб не сглазить только...

II

Внук хоть и знал, что бабка ему скажет, тем не менее известие так на него подействовало, что не захотел он и к ребятам идти, а прямо от бабки прошел в свою светелку, сел там у окна и задумался.

И знал он, что все так и будет, и ждал, а как случилось, как будто и не ждал и не гадал. Все сразу переменилось, и он сам словно другой вдруг стал.

Солнце садиться хочет и точно остановилось вдруг, и все остановилось, как и в нем, и сидит он и, неподвижный, смотрит, как блестит в огнях река, как загорелись прозрачные тучки в небе, как тихо стало и задумалось все вместе с ним... Песню где-то запели... Где он слышал эту песню? Он сам играл ее... Давно. Когда готовился и жил у учителя.

Только тогда, когда играл он ее, был вечер. Весна была, цвели черемуха, сирень. Окна были раскрыты. Темно было в комнате, только месяц светил. Он играл, а племянница учителя Паша стояла перед ним и слушала. Играл эту песню, а потом свое заиграл и все смотрел ей в глаза, как в ноты, и играл.

Он умел играть, играл с детства: единственное его дарование.

Звуки лились, наполняли маленькую комнату, вырывались через открытые окна в сад, где стоял май; светлая пыль стояла над садом, и месяц сиял жгучий, такой жгучий, что будто таял вокруг него освещенный кусочек голубого неба.

Он перестал играть, и стало тихо, так тихо, что слышно было, как билось его сердце... В саду щелкал соловей, и, как пьяный, говорил он Паше:

— Хорошо ли играл я?

Паша тихо ответила:

— Хорошо.

Он взял ее руки, наклонил к ней лицо и еще тише спросил:

— А меня любишь ты? Хочешь быть моей женой?

— Хочу, — шепнула Паша.

На другой день Федя с рассветом укатил в свою деревню и написал оттуда два письма: бабушке и Паше.

Бабушке он писал:

«Дражайшая бабушка, Анфиса Сидоровна! Уведомляю вас прежде всего, что молитвами вашими, слава богу, нахожусь в добром здравии. Уехал же я в деревню и экзамена не держал, так как всю грудь мою разломило, и доктора стали даже опасаться чахотки и велели мне все науки бросить, если не желаю скорой смерти. Так если за ученье надо в гроб ложиться, так лучше же хоть дураком, да жить на этом свете. А, впрочем, ежели вы непременно настаивать будете, то буду держать экзамены осенью. По хозяйству все благополучно. Сидорыч орудует здорово и мужикам в обиду себя не дает. Я тоже, как сумею, буду ему помогать. Нижайше кланяюсь вам и прошу вашего благословения и буду ждать здесь, в деревне, ваших дорогих писем. Вам известный внук ваш Федор Овчинников».

Второе письмо было к Паше. Там, между прочим, писал он: «Паша, я люблю тебя, и ничего мне другого в жизни не надо. Я уже знаю, что и ты меня любишь. А любишь, так мы женимся и будем жить здесь в деревне. Ведь через два месяца исполнится мне 18 лет, и тогда я женюсь, и потом уж никакая бабушка ничего с нами поделать не может. Эти два месяца надо протянуть только: храни бог, чтоб не узнала бабушка. Я для отвода написал уж ей письмо: вру там про чахотку и прочую канитель развожу насчет ученья. Какое уж тут

ученье, Паша, любимая моя, дорогая, когда теленок кричит сейчас — мать зовет, а земля зовет, чтоб пахать ее, а мое сердце зовет тебя, а в сад выйду, соловей спрашивает: «Где Паша?» С горя сяду играть и забуду все».

Написав письма, он задумался и слушал, как блеяли овцы, мычали коровы, звонко кричали бабы и ребятишки, шумела весенняя вода по оврагам, пахло вспаханной землей.

Он положил письма в конверты и отправил их.

И вот до сих пор никакого ответа от Паши. Как будто во сне все это случилось.

Пропал и учитель и Паша: как в воду канули. Ездил он к ним и в город: уехали... Уехали куда? Почему? Сначала болело сердце и плакал он, а потом изжилось. Бабушка не настаивала больше на ученье, стала исподволь к делу приучать его; начал он с молодыми приказчиками гулять,— так и пошло все своим чередом, день за днем, до сегодняшнего дня, до этой минуты, когда сидит он и смотрит в окно, как там, за деревьями сада, загорается вечерними огнями небо, сверкает красная, точно пожаром охваченная, река, и стоят на далекой горе одинокие, будто черные деревья. Смотрит он, и щемит сердце сладко и больно.

III

Свадьбу сыграли веселую. Денег бабушка не пожалела, и зажили молодые.

Даже нянька признала, что другой такой красавицы не сыщешь.

Не только нянька, весь город кричал о красоте молодой.

Ее богатство, бриллианты, наряды еще сильнее подчеркивали эту красоту. И везде она была желанной гостьей, щедрой благотворительницей, замкнутая в себе, загадочная. Рядом с нею шагал добродушный, толстый, молодой увалень, ниже ее ростом — ее муж.

Как относилась она к нему? Он благоговел перед ней,— это все видели, а что она к нему чувствовала, того никто, даже сама бабушка не знала.

Бабушка, пытливо наблюдавшая свою невестку-внучку и дома и в обществе, качала головой и говорила своей наперснице:

— Умная, загадка-девка, недотрога. И думаю: Федюшке за ней горя не ведать.

Третий год проходил, а детей у молодых не было. Бабушка тоскливо думала: «Еще несколько лет, и лопнет Федюшка — тогда что ж? Конец всему? Все эти фабрики, заводы, все, что столетним трудом наживалось, копилось,— пойдет прахом... Чужим достанется? И само имя ее унесет время, как ветер уносит засохший лист». И эта мысль буравила бабушку и холодом могилы охватывала ее. Все средства, какие знала, испробовала она; с кем ни советовалась — ничего не помогало. Жаловалась она няньке:

— Эх, захватило меня всю это дело. И чую: либо я его сломлю, либо оно меня в гроб загонит. Какие, казалось, дела были, шутя распутывала, а с этим что больше думаю, то больше запутываюсь!

— Вижу, вижу, что сохнешь ты,— тяжело вздыхала нянька.

Еще прошло некоторое время, и бабушка решилась. Она позвала к себе невестку, усадила ее в кресло, заперла плотно дверь и заговорила:

— Слушай, девка, полюбила я тебя, как дочку. Всем ты взяла, всем ты угодила мне,— всего моего богатства наследница — ты. Но что ж ты внука мне не даешь? Внука хочу... Хочу внука! Откуда хочешь, бери! Поезжай с мужем на богомолье, поезжай, куда хочешь... Внука, внука мне! Слушай: ты девка умная. Вот какое дело стряслось раз. Расскажу тебе то, что и попу на исповеди не рассказывала. Запутался мой покойный муж. И не велики деньги, да к сроку,— банков всяких не было еще тогда,— выходило полное разорение. На восемьсот тысяч векселей, завтра платить, а платить нечем. А была я в свое время не хуже тебя, девка, и знала себе цену, и того старика знала, у которого те векселя. Вечер пришел, ничего не придумали, значит позор. Вот перед этими самыми образами упала я на колени, помолилась, накинула платочек, да, никому ни слова не сказав...

Бабушка наклонилась к молодой женщине и шепотом прохрипела:

— Все векселя и сейчас вон в том комоде... Вот как я спасла состояние роду... а теперь самый род надо спасать. Уж так, видно, на этом роду и написано, чтобы он бабами держался.

Бабушка кончила, а невестка, неподвижная, с опущенными глазами, как статуя, слушала и молчала. От ее молчания бабушке стало жутко и холодно.

— На богомолье поеду,— наконец сказала она, встала и вышла.

Бабушка растерянно сметала крошки со стола, подходила к образам, оправляла лампадки, смотрела из окна на реку, на которую больше полувека смотрела, и мучительно рылась в своих мыслях. Лучше или хуже вышло, и что там в скрытной душе ее внучки таится?

IV

Большой волжский пароход готовился к отплытию вниз по реке. В рубке первого класса сидела бабушка, провожавшая своих молодых в дорогу. Забрались на пароход спозаранку. У молодых был попутчик: ехал в свое именье товарищ внука, Петр Маркелович Сапожков. Тоже из купцов, из богатых, на своих ногах уже,— весельчак и кутила, которому бабушка потому многое спускала, что рос он вместе с Федюшкой и в детстве, бывало, не выходил из ее дома.

С Сапожковым ехали еще двое, тоже попутчики: актер и актриса. Актриса ушла в каюту, а актер разговаривал с Сапожковым. Бабушка как увидала актера, так и впилась в него глазами: такого молодца еще и не видывала она.

Бритый актер, высокий, статный красавец, одетый с иголочки, с римским носом, красиво изогнутым ртом, говорил Сапожкову снисходительно мягким баритоном:

— Пойми же: совершенно невозможно...

— Нет, уж если ты приятель,— настаивал Сапожков,— то ты прямо говори, почему не можешь заехать ко мне в именье?

Актер с высоты своего роста снисходительно смотрел на красивого, но не вышедшего ростом Сапожкова и, усмехаясь, говорил:

— Чудак ты, и между приятелями не все говорится.

— Почему не все? — Сапожков заметил пытливый взгляд бабушки, обращенный на актера, скорчил лукавую физиономию и сказал вполголоса актеру:

— Видишь эту старушку: эта молодая за ее внуком... Теперь два капитала их соединились — всего миллионов шестьдесят.

Актер потерял на мгновение свое величие и даже пригнулся к Сапожкову:

— Не может быть?! Что ж они делают с деньгами?

— Ты думаешь — глаза им протирают?

— Ты за правило, любезный, раз навсегда возьми себе: думать только за себя. Я спрашиваю тебя: что они с деньгами делают?

— Что делают? Они сами по себе, а деньги сами по себе. Деньги работают. Фабрики, заводы, именья, лесное дело: оборот большой, денег много надо.

— М-да, это значит, не наличными?

— И наличными несколько миллионов найдется.

Актер вздохнул и равнодушно ответил:

— И это недурно.

— Ты бы их живо пристроил?

— М-да... в сторожа к своим деньгам во всяком случае не нанялся бы...

— Ха-ха-ха... Актер, так актер и есть: сразу такое слово скажет, что как бритвой... Чик — и нет бороды, чик еще — и усов нет, третий чик — и миллионы туда же.

И Сапожков заливался веселым смехом.

Актер смотрел на него снисходительно, смеялся мелким «хе-хе-хе» и говорил:

— Веселый ты человек, ей-богу...

— Нет, нет, ты смотри, как бабушка тебя меряет: я к ней побежал.

Он с эффектом опустился в кресло около бабушки, ушел совсем в кресло и даже ногу за ногу заложил.

Федя с женой сидели поодаль. Федя робко, с слегка открытым ртом, почтительно следил за товарищем и старался угадать, о чем он говорит с бабушкой.

— Что за человек будет? — спрашивала бабушка Сапожкова, указывая на актера.

— Столичных театров артист, Анфиса Сидоровна, и талант! Цветами его засыпали. Сколько подарков...

— Ну, это там его дело. Он, что ж, по облику ровно не русский: темный с лица?

— А не знаю я... Да можно самого его спросить... Эй, Александр Николаевич, пожалуйста,— а на движение бабушки Сапожков успокоительно ответил кивком головы и шепотом прибавил: — мы с ним дружки, на «ты».

В это время подошел Александр Николаевич Сильвин.

— Вот, позволь тебе представить... это — бабушка моего товарища, Анфиса Сидоровна интересуется, откуда ты родом.

— Вам угодно знать мою родословную?

В это время вышла миловидная актриса Марья Павловна Львова, и Сапожков, бросив скороговоркой Сильвину: «Садись на мое место», побежал к ней.

Сильвин, сев в кресло, как актеры сидят на сцене, когда изображают воспитанных из общества людей, говорил бабушке:

— Э-э... изволите ли видеть, моя фамилия, сударыня, собственно: Сильва... Э-э,— он выдвинул нижнюю губу,— я происхожу из венецианской семьи маркизов Сильва... Вы изволили быть в Венеции?

Бабушка сдвинула брови:

— Это где же?

— Это далеко отсюда, не в русской земле... Может быть, изволили слышать: венецианские кружева?

— Одним ухом слыхала.

— Ну, вот... кроме кружев, там есть Дворец дожей, в нем портреты всех дожей... Вот один из моих предков и висит там...

— Его за что же это?

— Э-э... он вел очень удачную войну... с маврами...

— В этом городе какой же народ живет?

— Итальянцы.

— Вы из них и будете?

— Собственно, мать моя из старинного русского рода... Э-э... И ростом с меня... сейчас жива, бабушка еще жива... я, конечно, уже русский. Крестил меня русский поп. Ну, сам я хоть в церковь и не хожу, но все-таки православный.

— Что ж? В той стороне все такой же, как вы, народ?

— То есть как?

— Такой же крупный?

— Э-э, как вам сказать... Тут, знаете, много значит

разная порода. Такие дети всегда будут и здоровее и крепче.

Бабушка вспомнила о своих коровах, выписанных из Англии, об отличном приплоде от них, который продавала по сто рублей за трехмесячного теленка, и сказала:

— Это ты верно говоришь... А далеко изволишь ехать?

— В Ростов. Но хочу по Волге прокатиться.

— Вот и мои тоже вниз бегут.

— А... По делу?

— На Илек — к старцам... по детскому делу... не дает бог детей.

— Гм... Странно: молодые, красивые люди...

— Вот поди ты... Не дает господь... Не помогут ли старцы.

Александр Николаевич покосился на бабушку, хотел было сказать какую-то пошлость, но только вздохнул и заметил:

— Жалею, что я не старец.

— А что?

— Тоже молился бы, чтоб такой красавице бог детей дал... Вот зовет меня Петр Маркелович к себе в имение. Имение у него хорошее?

— Плохо ли имение: в одном парке заблудиться можно, оранжереи, персики, ананасы свои.

— Хорошо бы и вашим молодым заехать перед богомольем повеселиться.

— Их дело,— сухо ответила бабушка,— если позовет Петр Маркелыч да надумаются они...

Петр Маркелович ушел на корму с Марьей Павловной, где их и нашел Сильвин.

— Вы уж извините, Марья Павловна, если мы вас оставим на минутку,— проговорил Сильвин, отводя Сапожкова в сторону.

— Я уж все заказал и шампанское велел заморозить,— начал было Сапожков.

— Не в этом дело,— перебил его Сильвин,— я бабушке сказал, что еду к тебе; тут молодые подошли, и, по-моему, как-то неловко выйдет, если ты и их не пригласишь.

— Ах, я телятина! Бегу...

— Постой. Видишь: ты тогда спрашивал меня, по-

чему я не могу заехать... Я не хотел было говорить... Дело в том, что у меня в Саратове назначено свидание с одним господином, который должен мне передать две тысячи... Э... э... ты понимаешь: человек он ненадежный,— сегодня есть у него деньги, а завтра не будет. Не приеду я в назначенный срок — рискую остаться без денег.

— Так тебе дать их, что ли?

— В таком случае, дай.

— Ты бы и сказал: дам, конечно. На какой срок?

— Ну, полгода.

— Идет... Побежал я звать молодых.

Сильвин же подсел к Марье Павловне, положил свою широкую руку на ее и сказал:

— Моя дорогая, вы мне можете очень и очень помочь... Э-э... дело в том, что этот Сапожков соглашается ссудить меня двумя тысячами... Эта сумма дала бы нам возможность после Ростова побывать за границей. Как вам улыбается эта перспектива?

— Очень.

— И прекрасно. Но для этого оказывается необходимым заехать к нему в деревню, так как он, как настоящий сын своего народа, деньги, очевидно, в кубышке держит или в каком-нибудь старом голенище. Что делать! Потеряем сутки... Имение, говорят, у него к тому же прекрасное.

Сильвин ласково сжал руку Марии Павловны и, глядя куда-то вдаль, бросил:

— Будьте с ним поласковее.

Но Марья Павловна так энергично спросила, что это значит, что Сильвин поспешил прибавить обиженно:

— О господи, да решительно ничего не значит... Ну, внимание, разрешение поцеловать руку, ну... э-э... создать иллюзию человеку...

И уже совсем тихо и брезгливо прибавил:

— Не будем же хоть мы изображать из себя мещанский тип мужа и жены: кому надо знать о наших отношениях? Вы знаете, какого я мнения об этом: огласка только пошлит, это должно быть так же сокровенно, как человеческая мысль. А такой флирт только отвлечет...

— Ну, согласна...

Он поцеловал ей руку и встал, потому что сверху несся уже третий свисток.

Бабушка, грустная, уже сходила на конторку.

— Не хотят мои ехать, — пожаловалась она Сильвию.

— Может быть, еще уговорим. Во всяком случае, прощайте, милая бабушка, я буду очень рад и счастлив когда-нибудь еще раз встретиться с вами... Я простой человек и откровенно вам скажу, что в первый раз вижу такой тип... э-э... такой тип человека старых устоев... Ну, дай же бог вам всего хорошего: чтобы ваши заводы работали без перерыва и вдвое; коровы давали молока... ну, бочками там, что ли; чтобы радовали вас ваши внуки, правнуки, праправнуки...

— Ну, этак ты меня заговоришь, и я останусь на пароходе. Хорошим людям и мы рады, хоть ты там и вышел не из русской земли...

— Везде бог, и везде люди,— говорил своим ровным баритоном Сильвии вдогонку бабушке.

Бабушка стояла уже на конторке, и напряженная неотступная мысль буравила ее голову. Она глубоко вздыхала.

— О чем еще может вздыхать эта женщина? — говорил Сильвин, обращаясь в это время к Сапожкову.— Все судьба дала ей. Воображаю ее в молодости.

— Вот такая же была, как теперь внучка.

— О, внучка — это прямо чудо природы. Какое сочетание величия, женственности, красоты. И кто б мог думать, что из этих диких лесов может выйти такая фея. Я смотрю на нее и чувствую запах, аромат, свежесть этого леса... (он возвысил голос) в майское яркое утро, когда еще роса сверкает на листьях, и нега кругом, и лучи золотой пылью осыпают там дальше непроходимую чащу, полную чар, манящих, неведомых, полных таинственной загадочности. О, с ума можно сойти!

Он повернулся к Матрене Карповне и сказал восторженно:

— Я удивительно люблю ваши леса, я обожаю их! Я готов дни, ночи напролет ходить там, думать бог весть о чем, мечтать. Удивительно! Вам не совсем хорошо видно: с тех мостков вы лучше увидите.

Матрена Карповна поднялась с Сильвиным по мосткам. Там, на верхней палубе, стояли они одни, высоко над всеми, над всей рекой, спокойной и плавной, над маленькой конторкой, уже исчезавшей за поворотом, где была еще бабушка и крестила их двуперстным крестом.

V

Обедали, шампанское пили, тосты провозглашали.

Александр Николаевич был в ударе: декламировал, рассказывал в лицах и, по обыкновению, овладел общим вниманием.

Разошлись до того, что после обеда Сильвин и Сапожков стали прыгать через стулья. Сперва прыгали через один, а потом поставили стул на стул. Сильвин перепрыгнул, а Сапожков вместе со стульями полетел на пол.

Пока обиженный Сапожков, растирая себе ногу, стоял у окна, Марья Павловна упрекала Сильвина.

— Но откуда же я знал? — говорил он с своей обычной интонацией.— Он же говорил, что брал уроки гимнастики.

Это обстоятельство на время расстроило компанию. Сапожков ушел к себе в каюту, ушла и Марья Павловна, а Федя сел за рояль. Стоило ему только дотронуться до клавишей, как полились звуки, и Федя, по обыкновению, забыл все на свете.

— Какой, однако, он у вас артист,— заметил Сильвин, присаживаясь возле Матрены Карповны.

Вышла Марья Павловна. Сапожков появился, и все вместе с Матреной Карповной и Сильвиным ушли на палубу.

Ровно, усыпляя, шумел пароход и мчал вниз по течению. Проносились берега, покрытые лесом; гористые, далекие поля, как шахматные доски с черными, зелеными, белыми и желтыми шашечницами. В высокой синеве парил орел, а из открытых окон рубки неслись нежные звуки мелодичной фантазии молодого артиста.

Он играл и машинально смотрел в окна, как вдруг глаза его остановились и дыхание захватило в груди.

Он увидел Пашу.

Паша, живая, стояла перед ним и смотрела, как смотрела тогда, в тот вечер.

Руки задрожали у Феди, он сбился было, но, пригнувшись к роялю, опять заиграл, не отрывая больше своих глаз от клавишей.

А мысли, воспоминания бурно, с необычной быстротой проносились в его голове.

Паша... Откуда она взялась? И как смотрела! Как бы с ней хоть словом-другим перекинуться, узнать по

крайней мере, что так и осталось для него навсегда загадкой?

Пароход между тем уже подходил к пристани, где надо было сходить Сапожкову, и они вдвоем с Сильвиным усердно уговаривали Матрену Карповну согласиться и поехать в именье.

— Ну, вот что,— настаивал Сапожков,— хоть на минуту заезжайте: пароход два часа стоит, а усадьба от города и версты не будет, да до города не больше трех. Вот и лошади,— на этой тройке тридцать верст в час уедешь. Ну, ради бога, ну, я на колени встану: Матрена Карповна, голубушка. Царица милостивая!

Сапожков действительно упал на оба колена, и обе руки поднял к небу.

— Я тоже готов умолять.— И Сильвин картинно уже опускался на одно колено, когда Матрена Карповна милостиво изъявила свое согласие. Сапожков со всех ног бросился к Феде.

Сапожков возвратился скоро и принес удививший всех ответ: «Поезжайте сами, играть хочу».

— Что ж, господа,— сказал Сильвин, оглядывая всех,— не будем безжалостны: надо войти в положение артиста: эти муки и радости,— то, чем живем мы,—он так чудно передает звуками, что ему грех мешать.

VI

Федя остался один на пароходе и, играя, опять смотрел в окно. Но Паша больше не подходила.

Он перестал играть и встал.

Солнце село. День кончился, но свет электрических лампочек еще борется с последними отблесками вечерней зари. В противоположном зеркале отражается берег реки, охваченный бледным замирающим просветом запада, но из окна на юг уже глядит синего бархата темный вечер, теплый, мягкий.

Федя вышел на палубу.

Он шел и внимательно всматривался в сидящих на скамейках. Он издали узнал Пашу и долго стоял, не решаясь подойти.

— Здравствуйте,— чуть слышно раздалось над ухом Паши.

Она повернулась к нему, он подсел, и так же, как шесть лет тому назад, они опять сидели вместе, и казалось, никогда не разлучались.

Федя узнал то, что было для него до сих пор загадкой. Он перепутал тогда письма: бабушкино получила Паша, а Пашино — бабушка. На другой же день тогда к ним приехала сама бабушка, долго говорила с дядей, и через два дня, когда они уехали из города, дядя сказал Паше, что Федя отказался от нее.

Федя слушал, наклонив голову, и, когда Паша кончила, он не знал, о чем говорить... Все сделано, он женат уже,— и такой далекой казалась Паша в своей скромной шляпке, темном платье. К тому же каждую минуту могла приехать жена...

— Эта высокая красавица — ваша жена? Дай бог вам счастья.

Но что это? Пароход уже отходит. Он бросился в рубку, в каюту — жены нет. Он выбежал опять на палубу: знакомые голоса кричали ему с конторки.

Это они: жена, Сапожков, актеры. Они кричали ему, что опоздали; кричали, чтобы со следующей пристани он ехал назад и тогда к четырем часам ночи приедет, что лошади будут ждать его у пристани, что захватил бы вещи актеров; еще что-то кричали, но он не слышал, потому что колеса уже хлопали по воде, а махина-пароход с сотнями разноцветных глаз в мягкой синеве ночи уже уползал на средину реки.

VII

Компания на берегу опять села в экипажи и уехала назад в усадьбу. Там ждали их с ужином, с иллюминацией; горели в саду и в парке фонари, жгли костры, и громадная усадьба, казалось, поднялась на воздух и качалась там в волнах света и дыма.

— Но это очаровательно, это волшебно, — говорил Сильвин, стоя в красивой позе на террасе. — Господи, как живут здесь люди! Боже, как живут! Даже страшно подумать.— И он сделал страшные глаза и картинно поднял руки.

Тут же на террасе и ужинали.

Говорил все тот же Сильвин.

— Я уже сказал двадцать тостов и, право, не знаю, милостивые государыни и милостивые государи, что еще сказать, чего еще можно пожелать счастливому обладателю этого волшебного замка... Я желаю разве, господа, чтобы настало, наконец, время, чтобы в таких же замках жила вся Русь.

— Ура, ура! — кричал захмелевший Сапожков.—Уважил... Спасибо тебе! Спасибо: русского человека не забыл! Господа, еще раз за здоровье высокоталантливого артиста!

Он обнимал за шею Сильвина, и тот, снисходительно мыча, наклонялся к нему и лобызался.

— А теперь, Александр Николаевич, благодетель, еще что-нибудь расскажи,— приставал к нему Сапожков.

— Кажется, все уже...

— Ну, все! Сто лет будешь говорить — всего не перескажешь...

— Гм... Ты думаешь...

Сильвин задумался...

— Ну уважь, пожалуйста!

— Изволь... Но я вперед прошу извинения у дам. Может быть, они извинят меня, приняв во внимание количество выпитого; может быть, если будут терпеливы и дослушают до конца, убедятся в чистоте моих намерений. Во всяком случае, я рассчитываю на снисхождение... Я рассчитываю на то, наконец, что завтра мы расстанемся и, может быть, навсегда. При таких условиях люди иногда охотнее открывают друг другу свои души. Душа — та же книга... Раскрыть ее, перелистать несколько страниц... Если собранию не наскучило, я предлагаю рассказать одну из таких страниц моей жизни, без лжи, а так, как это действительно случилось. Это ведь только и интересно, а не фантазия писателя: самая яркая из них ничего не стоит перед оригиналом всякой фантазии — жизнью... Я ехал однажды на пароходе. Я не старик, господа, нет: я клеветал бы на себя, если бы утверждал противное, но тогда я был еще моложе... Под вечер на одной из пристаней села дама — молодая, интересная. Это ведь сразу чувствуется. В эту даму я влюбился мгновенно, после первого взгляда. Влюбился безумно, и вот почему я всегда смеюсь, когда читаю, что влюбиться можно, во-первых, не иначе, как исписав не-

сколько печатных листов, и, во-вторых, только после выяснения всех вопросов по части этики, политики и социологии. Человечество, конечно, всегда создавало и будет создавать барьеры для любви, а любовь всегда брала и будет брать эти барьеры, и я тоже влюбился, не справляясь, как это там понравится маменьке, приятелю, науке или религии. Мне помог познакомиться с ней случай. А может быть, и что-нибудь другое: я фаталист — верю в предопределение... Ветром сдуло ее шляпу в реку, и я не долго думая, если не вру, кинулся за этой шляпой, да, да... Это было ужасно, я выкупался, но шляпу поймал, хотя едва-едва не утонул. После этого ей нельзя было не познакомиться со мной: я переоделся, и мы провели один из тех вечеров, которые, как и переживаемый нами, не забываются: чудный вечер... И вот чем еще был замечателен тот вечер: он подтвердил то, что тогда было для меня только предположением, а теперь фактом. Дело в том, что общение людей идет двояким путем: путем наших слов, жестов,— внешним путем, и другим, внутренним, в котором мы невольны. И вот до чего эти внутри нас сидящие договорятся, это мы узнаем по нашим непроизвольным действиям. Так, когда мы разошлись в тот вечер, я ушел к себе и долго сидел, смотря в окно. А потом какая-то сила вдруг подняла меня, и я пошел: я знал, что дверь ее каюты не будет заперта... Я прошу извинения: я слишком долго говорил и неудачно — это я сам чувствую,— но цель всего этого рассказа та, чтобы предложить, милостивые государыни и государи, еще один тост,—тост, которым я всегда кончаю те пиршества, где участвую. Господа, я предлагаю тост за женщину!

— Ура! Ура! — кричал Сапожков.

— А затем, повторяя слова Пруткова: если у тебя фонтан, то заткни и его, потому что и ему надо отдохнуть,— я умолкаю и не скажу больше ни слова,—объявил Сильвин.

— Да, пора спать,— сказала Мария Павловна.

— Ну, так рано,— запротестовал было Сапожков, но Сильвин перебил его:

— Дамы действительно устали. А мы с тобой проводим дам до их апартаментов и воротимся назад.

Так и сделали.

Сапожков настоял, чтобы Сильвин на прощание про-

декламировал еще что-нибудь. После долгих отказов Сильвин задумчиво стал тереть лоб рукой.

— Чудную вещь я собираюсь поставить в свой бенефис... Не помню только...

— Что помнишь!

— «Но, Беатриче, что ж я дам тебе?..» Нет, забыл...

— Ну, ради бога!

...Случится, может быть, что у тебя родится сын.
Так знай же: коль это счастье улыбнется нам,
Ему я все заветное отдам.
О да! О боже мой, чем глубже погружусь
Я взором в тайну прелести твоей...

Нет, не могу.

Сильвин быстро поцеловал руку Матрены Карповны, так быстро, что она не успела отдернуть свою и только вспыхнула вся, и так же быстро ушел на террасу.

За ним пришел и Сапожков.

Разговор не клеился.

— Деньги мне сегодня дашь? — спросил Сильвин.

— Нет, уж завтра: у приказчика надо взять, а он, пожалуй, спит уже.

— Вексельный бланк у тебя найдется?

— Найдется.

— Ну, прощай, отведи меня в мою комнату.

Сапожков проводил и на прощанье еще раз расцеловался с Сильвиным.

— И засну же я сладко,— говорил Сильвин, потягиваясь и провожая глазами идущего по коридору хозяина.

— Ох, и я! — весело ответил Сапожков и, поворачивая за угол, послал рукой поцелуй Сильвину,— прощай!

Проснувшись на другой день, Сильвин долго лежал с закрытыми глазами.

Затем он стал ждать, не придет ли кто-нибудь, не принесут ли ему кофе, которое он привык пить, лежа в кровати, и в это время думать о чем придется. Но никто не являлся, и приходилось вставать без кофе.

От вчерашнего шампанского немного болела голова.

Умывальник был очень плохой, с тоненькой трубочкой, из которой едва выбивалась слабая струйка воды.

Вода пахла, и ее оказалось очень мало. Мыло тоже

не пришлось по вкусу Сильвину: яичное. И платье не было вычищено. Заменяя щетку рукой и ворча, Сильвин кое-как оделся, вышел в коридор и, подойдя к комнате Марии Павловны, постучался.

— Вы?

— Я.

Замок щелкнул, и Сильвин вошел.

— Вообразите, сегодня ночью кто-то подходил к моей двери, трогал ручку...

— Н...да...— неопределенно промычал Сильвин и, уныло оглядываясь, прибавил: — ну, я боюсь, что кофе нам сегодня не придется пить... во всяком случае, надо повидать хозяина.

Сильвин вышел в коридор и оттуда прошел в комнату хозяина.

Сапожков лежал в кровати, пил содовую воду и думал о чем-то.

Гость и хозяин поздоровались сухо.

— Я хотел бы с Марией Павловной уехать по железной дороге: поезд, кажется, через два часа уходит?

— Кажется. Что ж, лошадей?

— Пожалуйста, кстати то, что ты вчера обещал?

Сапожков не сразу ответил. Он посмотрел в потолок, посмотрел в окно, нехотя зевнул и сказал:

— Да, вот получил телеграмму: дело, на которое рассчитывал, не вышло. А пока не вышло, и я дать не могу, потому что могут понадобиться и самому деньги.

Сильвин встал и, угрюмо сдвинув брови, сказал:

— Но мне вчера было дано определенное обещание: я же объяснял, в чем дело.

— Что ж дело? Росли бы у меня в саду деньги, как цветы,— пошел бы да нарвал. Дело коммерческое —не вышло, о чем говорить?

Сильвин промолчал.

— Так нельзя ли по крайней мере распорядиться насчет лошадей?

Сильвин пошел к двери.

— Сегодня не вышло, завтра, может, выйдет, до завтра подожди.

— Я сегодня еду и сейчас же,— ледяным голосом, не останавливаясь, ответил Сильвин.

Он заглянул к Марье Павловне:

— Поторопитесь одеваться: мы сейчас едем на вокзал.

— А вещи?

— Вещи приехали.

Когда Сильвин с Марией Павловной вышли на подъезд, они увидали плетушку, запряженную парой кляч.

— Это что?

— Экипаж для вас.

— Э-э... не нужно... Вот что, любезный, вот тебе рубль, сбегай на село, найми там лошадей, пусть положат эти вещи и догонят нас: мы пешком пойдем к вокзалу. Дорога та, по которой приехали?

— Та...

Они под руку пошли пешком.

Они шли парком. Было утро — ароматное, свежее. Солнце играло уже на дороге, пробиваясь сквозь листву деревьев, и дальше туда, где на лужайках, покрытых сочной зеленой травой, еще была тень и прохлада.

Марья Павловна прижималась к своему спутнику и восторженно говорила:

— Какое чудное утро, как хорошо здесь: рай!

— Да, и этот рай принадлежит какому-нибудь обгрызку мысли и чувства, а мы с тобой, которым рукоплещет и поклоняется толпа,— мы, как Адам и Ева, выходим изгнанниками.

— Маленькая разница на этот раз: Ева, изгоняемая до вкушения запрещенного плода, но результат, впрочем, тот же: изгнали.

— Сами изгоняем себя...

Наемная пара нагнала их у самого города.

Когда Сильвин и Марья Павловна сели, ямщик с веселым лицом, вздернутым носом обратился к ним:

— У Сапожкова в гостях, видно, были?

— Н-да...

— Уж такой негодяй,— сплюнул ямщик, подбирая вожжи,— такой сквалыга, не накажи господь. На вокзал, что ль?

— На вокзал.

— Но!.. Деньги в срок за землю ему не принесешь, сейчас к земскому — неустойку да судебные издержки... Скотина ступит на его землю — опять три рубля штрафу... Такой негодяй....

Он помолчал.

— А уж насчет девок... где только застукает...

— Ну, дальше можешь не распространяться. Погоняй: хорошо получишь.

VIII

Три месяца ездили молодые.

И хоть, возвратившись, Матрена Карповна скрывала свою беременность, но всевидящая бабушка сразу сообразила, в чем дело.

Она и радовалась, и в то же время новые мучительные мысли не давали ей покоя: «Мальчик, девочка, с короткой шеей или длинной?»

Невестка была, как могила.

При всей своей неустрашимости и бабушка не решалась заговаривать с ней.

«Узнаю все,— утешала она себя,— когда придет время...»

И действительно, когда пришло это время, все узнала бабушка.

Она смотрела с безумной радостью на эту вдруг таинственно выглянувшую из бесформенной массы среди стонов и воплей головку, и руки ее дрожали, когда она творила крестное знамение.

Она бросилась в соседнюю комнату, где томился внук, и, притащив его за руку, исступленно говорила ему:

— В брата моего, весь в брата: такой же темный, с длинной шеей, и глаза его... и мальчик, мальчик... Ох, умница моя!.. Благодари, благодари! Земным поклоном! Так!.. Ноги ее мыть, воду ту пить должен!

IX

Бабушка еще двенадцать лет жила после этого.

Как-то, незадолго до смерти, она призвала к себе няньку, и призвала утром, что не было у нее в обычае.

— Сон мне приснился,— сказала бабушка.— Третий такой сон вижу в жизни. Первый перед смертью мужа, второй, как ездила тогда за Матреной, а третий нынче

ночью. Сижу я вот здесь, на этом месте, и жду чего-то: вот сейчас растворится дверь, и узнаю я все. И тихо, так тихо сами двери растворяются, и тьма за ними непроглядная, и гляжу я, из тьмы выходит мой муж покойный, и знаю я, что умер он, и знаю уже, зачем он пришел. И говорю ему: «За мной, что ли?» А он этак головой мне кивает. А черный кот на окне сидит... помнишь, который еще при покойнике извелся... поднял шерсть, окрысился на меня, а глаза, как угли, и растет он, растет... И проснулась я... Ну... вещий сон?

Няня молчала, смотрела в пол, и мутные слезы текли по ее лицу. Бабушка вздохнула:

— То-то же... Ну, и будет плакать: негоже это... Пожила, потрудилась, как умела, пора и в дорогу...

Стала бабушка готовиться. Хотела было церковь строить, да побоялась, что не поспеет: отказала в духовной на церковь, а для единоверческой церкви заказала колокол, какой только может поднять колокольня.

— Чтобы его медный язык напоминал обо мне, недостойной, перед престолом всевышнего.

Последнее желание бабушки было своими ушами услышать первый звон колокола.

Она уже лежала, когда провезли его по улицам.

— Ох, доживу ли? Позволит ли господь дожить, примет ли мою грешную жертву? — металась бабушка и на это время забыла обо всем земном.

Всю ночь уставляли снасти, натягивали канаты, к утру все было готово, и после ранней обедни начали поднимать колокол.

Радостное весеннее утро сверкало над землей.

И площадь и улица, все вплоть до окна, где лежала бабушка, набилось народом с одной мыслью у каждого: успеют ли навесить колокол, примет ли господь бабушкину жертву?

Из уст в уста сообщали бабушке все, что делалось около церкви. Уж дело подходило к полудню. Надвигалась гроза. В последний раз из-под темной тучи выглянуло солнце, как грозное око творца, а под ним еще сверкала безмятежная даль золотистых небесных полей. В это мгновение раздался первый протяжный удар колокола. Вздох облегчения пронесся в многотысячной, обнажившей головы толпе, и стало тихо, так тихо, как бывает только во сне, и все взгляды устремились в окно,

где вдруг показалось мертвенно-бледное лицо вставшей бабушки, с громадными черными глазами, с протянутыми руками туда, где сверкало еще из-под туч последними яркими лучами солнце, и губы ее вдохновенно шептали просившим ее лечь:

— Он сам, он, творец наш, здесь,— могу ли я лежать...

Безмолвно, страшно и радостно все смотрела она. Черные тучи уже охватили небо, закрыли солнце, сразу стало темно, а колокол гудел, и лились его медные звуки, торопясь и догоняя друг друга. Навстречу им уже неслись сверху раскатистые мощные удары грома: точно с высот с грохотом само небо валилось на землю...

Гром гремел, и молния бороздила небо, словно разрывая на части над самой землей опустившиеся тучи.

Полил дождь, как из ведра, сплошной, серой массой укрывший все, и сразу потекла река грязной воды по опустевшей улице; все выше поднималась она и кипела, покрытая пузырями.

А бабушка лежала удовлетворенная и смотрела на всех окружающих.

— Еще раз хочу исповедаться.

Перед исповедью бабушка подзывала всех, просила прощения, прощалась по очереди и каждому говорила: «Мою волю узнаешь».

Сейчас же после причастия бабушка прошептала:

— Тоска подступает... уходите все...

И когда выходили, она провожала всех долгим взглядом. Невестку она удержала последнюю, погладила ее по голове и тихо проговорила:

— Умница моя,— тебе передаю дом... Как уберут меня, зайди в мою горницу и там в комоде, в ларце, убери, что не надо.

К вечеру бабушка уже лежала на столе со сложенными руками, строгая, навсегда чужая всему живому, укрытая той самой парчой, которую выбрала для себя.

Наверху, в ее комнате, исполняя волю покойной, сидела у комода ее невестка.

В особом ларце лежали векселя, о которых говорила ей бабушка. Чернила пожелтели, и уже с трудом можно было разобрать неуклюжую подпись: «Иван Овчинников».

А под этими старыми векселями лежал свежий сравнительно переводной купон на двадцать пять тысяч рублей от какого-то Иванова из Москвы в Петербург.

Матрена Карповна нагнулась ниже и прочла имя того, кому переводились эти деньги. И вдруг лицо ее — как лицо человека, которого неожиданно поймали над тем, что считал он только своей тайной,— покрылось густым румянцем, и, быстро встав, она подошла к открытому окну.

Дождь прошел, солнце садилось и последними лучами золотило даль. Только там, далеко за рекой, как островерхие крепости, выдвинулись и застыли на горизонте синие тучи. Едва слышно, как грохот отъезжающего экипажа, доносились раскаты грома.

1904

СУМЕРКИ

Сумерки.

Крепнет мороз, и голубыми искрами отсвечивают заиндивевшие окна.

Не хочется протянуть руку к электрическому звонку, и только огнем камина освещена комната.

Я сижу в кресле, перед камином, и смотрю в перебегающие струйки огня.

Как эти струйки, мысли, перегоняя одна другую, проносятся в голове. Никогда не уследишь, почему вдруг вспомнится что-нибудь далекое, забытое, и вновь с острой болью переживаешь все.

Как сквозь рассеявшийся туман, увидел я опять смотрящие в меня темные глаза, ее лицо в рамке мягких шелковистых волос того темно-бронзового цвета, который так ценится красавицами всего мира. И меня охватило опять, как бывало прежде, страстное желание прильнуть губами к этим волосам... Хоть раз... раз... Ни разу... Никогда...

Я расскажу вам. Теперь я могу уже рассказывать.

Теперь, когда прошло столько лет — целая жизнь прошла, и когда опыт жизни, как горящая свеча, освещает былые потемки.

Да, теперь, с этим опытом жизни в руках, я могу, сколько хочу, бродить в ошибках моего прошлого.

Ну, так вот...

Я был бедный, молодой, только что начинавший скульптор. Я был спокойный, уравновешенный юноша, с мыслями только о своем искусстве.

Настолько спокойный, что мне поручили жившего со мной в комнате доктора, тоже молодого, не более взрослого, чем я. Родные этого доктора просили меня благоразумно влиять на него в деле его любви к одной барышне, из-за которой он переехал и поселился в Москве. И я, добросовестно влияя, как умел, расхолаживал его, потому что обстоятельства так сложились, что все равно из любви доктора ничего не могло выйти.

А теперь перехожу к своей первой встрече.

Я увидел ее в первый раз на одном вечере у знакомых.

Как только вошел, в следующих дверях увидал ее, ее головку, и все было кончено. Буквально точно укололо меня что-то в сердце, точно искра вошла, я сразу потерял себя.

Я забыл все — где я, кто еще в комнатах, светло ли, темно ли? — я видел, слышал, чувствовал только ее. Ничего подобного никогда со мной в жизни не было ни раньше, ни после. Меня представили ей, и я, нарушая всякие приличия, не отходил больше от нее весь вечер. И все время мы о чем-то говорили,— я никогда даже не мог вспомнить, о чем. Когда вечер кончился и все разошлись, я сказал ей:

— Нам необходимо завтра видеться.

Она рассмеялась и сказала:

— Завтра как раз у нас журфикс [1].

Я ответил:

— Хорошо, я буду.

Я не был еще даже знаком с ее родными.

Я возвратился домой. Лег спать. Не спал ни минуты. Это тоже было в первый раз со мной.

Доктор, который обыкновенно раньше меня просыпался, удивился.

— Ты уже проснулся?

— Я совсем не спал.

— Отчего?

— Ты доктор и умный человек — скажи сам, отчего.

Он подошел ко мне, положил мне руку на голову, посмотрел язык, послушал пульс и сказал:

[1] В светском обществе определенный день недели для приема гостей (*от франц.* jour fixe).

— Где ты был вчера вечером?

Я ответил.

— Познакомился там с красавицей с волосами из темной бронзы?

Я кивнул головой.

— И влюбился?

— Но я никогда не думал, что влюбиться — это значит сделаться другим человеком, что это значит заболеть, физически страдать, быть ни на что не годным. Я не знаю, что со мной,— точно воздуха нет — я хочу дышать и не могу, и мысль, что я не увижу ее больше, то же, что сознание, что и дальше так не будет воздуху и я задохнусь, умру. Ты ее знаешь?

— Я лечу в доме ее дяди, в семью которого она на днях приехала погостить. Сегодня с утра я еду прямо к ним.

— Слушай. У них сегодня вечер, и я буду у них; ты спросишь у ее дяди разрешение. Если он не разрешит, я все равно буду. И я тебя прошу вот что сделать: ты поезжай к ним и узнай, какое впечатление я произвел на нее.

— Друг мой, я тебе одно только должен сказать: если моя любовь — сумасшествие, то твоя в тысячу раз большее сумасшествие, безумство! Ты бедный мальчик, только начинающий еще свою шаткую карьеру, а она дочь миллионера.

Я ответил:

— Это все равно. Но, пожалуйста, одевайся и поезжай и поскорее возвращайся, иначе я не дождусь и умру.

Он сказал:

— Может, и не умрешь?

— Нет, не шути; я совсем не понимаю, что со мной делается. Я потерял себя. Ты поезжай и найди мне самого меня. Скорей найди, потому что долго в таком состоянии я не могу оставаться.

Не знаю, как я провел время в его отсутствие. Когда он возвратился, я бросился к нему.

— Ну, что она?

— И в ус не дует.

— Не может быть! Зачем же она целый вечер сидела со мной, говорила и не прогнала меня?

Ее дядя прислал мне приглашение.

— И я буду,— сказал доктор.

— Следи и суди сам,— сказал я.

В девять часов мы входили к ним и ушли из последних.

Весь вечер опять мы были вместе. Когда настало время прощаться, я почувствовал, что так продолжаться не может. Или я должен умереть, или на что-нибудь решиться, но не видаться целую неделю нельзя было.

Я опять не помню, о чем мы говорили, но последний разговор помню. Я сказал ей:

— Я должен непременно с вами завтра увидеться.

Она рассмеялась и сказала:

— Должны?

— Непременно должен.

— Ну, тогда приходите завтра к нам.

— Нет, не к вам. Здесь я ничего не могу сказать. Назначьте мне на улице свиданье.

— На улице?

Она опять рассмеялась, смутилась, подумала и сказала:

— Завтра в двенадцать я пойду завтракать к тетке. Ждите меня на улице.

Ровно в двенадцать она вышла из дому, я ждал ее на углу, и мы пошли рядом.

Был очень сильный мороз.

Я предложил ей зайти в пассаж, чтобы бросить письмо. Мы вошли и поднялись на четвертый этаж в почтовое отделение. Я отдал письмо, мы вышли и сели тут же на скамеечку.

Сидели и разговаривали, и спохватились только тогда, когда пассаж осветился электричеством. Четыре с половиной часа прошли, как одно мгновение, без ощущения холода и голода.

Она испугалась и воскликнула:

— Надо домой идти!

И мы пошли.

— Вы что-то мне хотели сказать?

Тогда я заставил себя говорить и рассказал все, как полюбил ее вдруг, как сошел с ума, все.

И спросил ее: любит ли она тоже меня?

Она сказала, что все это так странно, так странно, что она совершенно не может отдать себе отчета, что не понимает, как это можно так сразу полюбить. Сказала,

что верит мне, что я ее люблю, но она не знает, ей кажется, что она не может любить меня — никого не полюбит. Она не знает, можно ли мне надеяться.

Вы знаете? Мне кажется, она уже любила меня тогда, но не хотела сказать...

Ах, если бы сказала!..

Ведь другая была бы жизнь.

Накануне доктор спрашивал:

— А если она откажет тебе?

— Я умру,— отвечал я.

И я умер, или заснул и уже не мог проснуться больше. Жизнь пошла, как во сне, когда и живешь и идешь, не как и куда хочешь, а как и куда ведет тебя сон.

Когда мы подошли к ее дому, я сказал:

— Хорошо, больше я об этом не буду говорить, а если обстоятельства переменятся, вы сами мне скажете.

И вот так я стал жить. Я каждый день видался с ней. Я просыпался и говорил себе:

— Сегодня надо тоже ее увидеть.

И я видел ее. На улице, в театре, у нее в доме. Я всегда попадал туда, где она была. Я знал наверное, где, когда встречу ее. Раз я вдруг захотел зайти в магазин; вошел и увидел ее там. Мне ничего не надо было в этом магазине. И мы оба не удивились этому — так должно было быть. И мы смеялись и радостно жали друг другу руки.

В семье ее дяди меня полюбили, и я стал у них своим человеком. За обедом я сидел рядом с ней всегда, и шутя нас называли женихом и невестой.

Так прошло месяца два.

— Ну, как же ваши дела? — спросил меня доктор.

— Я не знаю,— ответил я.— Она должна сказать, так мы условились; она молчит, я жду.

Вот что посоветовал мне доктор.

Заболеть и недели две не показываться к ней. Тогда по крайней мере выяснятся ее чувства.

И я решил. Я две недели не бывал у них. Но видел ее все-таки каждый день. Я прятался за воротами того дома, где жила она, и, когда она выходила, издали шел за ней. В очередной вечер доктор поехал один. Я ждал его возвращения.

— Ну, что она?

— Спрашивала. Сказал, что ты болен.

Наконец на следующий вечер я поехал.

Она встретила меня очень холодно, почти не разговаривала.

За ужином мы уже не сидели рядом.

Я хотел было совсем перестать бывать, но подумал и продолжал видеться с нею.

Она была холодная, я не навязывался. Так прошел месяц.

Однажды она сказала доктору, а тот передал мне:

— Ваш друг мне нравится.

— Пусть она мнѐ это скажет, и мы женимся.

Она действительно стала ласковее ко мне, и опять мы незаметно сблизились. Я уже и стал чувствовать теперь, что нравлюсь ей, но ждал от нее первого слова.

Мне надо было ехать в Варшаву за материалами.

Я пришел к ней и сказал, что уезжаю.

— И я тоже еду на днях домой.

Она жила в Ковно.

Прощаясь, она сказала:

— Хотите вместе ехать?

— Хочу.

Мы ехали вместе сутки. На станции, где мне надо было высадиться, она сказала:

— До прихода вашего поезда вы успеете проводить меня еще три станции.

Я взял билет, и мы поехали. Я чувствовал, знал, что она хочет что-то сказать мне. Ждал. Я все так же, а может быть, и больше ее любил и знал, что, начни я теперь разговор, и мы договорились бы скоро, но... язык мой был как скованный. Я ничего не мог сказать... может быть, гордость за прежнее оскорбленное самолюбие... я не знаю.

Так мы проехали три станции; я слез; до отхода поезда мы походили еще по платформе.

Весна была, и я купил ей букет сирени.

Уже отходил поезд, она стояла в окне и... ничего не сказала.

Вдруг крикнула:

— Знаете, на обратном пути заезжайте к нам!

И я крикнул:

— Непременно!

И вот через две недели я приехал к ним в Ковно. Я несколько дней там прожил.

Это были такие радостные, прекрасные дни. Меня приняли, как родного. Хоть и не было ничего сказано, но все как будто без слов было решено.

Был такой чудный июль. Цвели розы, гвоздики, жасмин. Так прекрасны были закаты солнца после длинной зимы, так нежен, ароматен был воздух. Все жило, трепетало жизнью — каждая травка, каждая тучка в небе, и все, все было так безмятежно счастливо. Вечера таинственные, ласкающие. Мы ходили в сад, садились на скамью и разговаривали, и как будто ближе сдвигались кругом нас деревья и слушали и тоже вздыхали от избытка счастья, и небо было над нами синее, блестящее, все в звездах. Падали звезды и серебряным ножом разрезали синее небо.

Как хорошо было тогда. И никогда уже, никогда не было так хорошо ни прежде, ни потом.

Так прошли эти несколько дней. И мы все-таки ничего о самом главном для нас не сказали друг другу.

Несколько раз — не несколько, а тысячи раз казалось—вот-вот сейчас заговорим. И молчали.

Как-то в привычку вошло, и мы уже не могли победить себя. Разбудить себя. Какой-то волшебник усыпил нас. Недостаточно сильное чувство? Но никогда наша любовь не была сильнее, и остальная жизнь, и ее и моя, доказательство тому.

Мне надо было заехать в Вильно.

Опять дотянули до последнего мгновенья, когда вдруг, прощаясь уже, она сказала:

— Заезжайте еще раз на обратном пути.

И опять смерть отошла от меня, и опять я был счастлив. Все было решено бесповоротно мною; я возвращусь и объяснюсь с ней.

Счастливый, радостный, через несколько дней я уже опять звонил у дорогого подъезда.

Мне долго не отворяли. Меня долго продержали в гостиной. Потом вышла ее мать, холодная, чужая. Еще долго не приходила она и, наконец, пришла. Я ничего не понимал; и она чужая, скучная. Разговор совершенно не клеился. Мать спросила меня:

— Вы когда едете дальше?

Я сказал, что со следующим поездом, и стал прощаться. Я не знаю, как я вышел. Раньше она обещала мне

свою карточку. В мое отсутствие она должна была сняться.

Карточка была готова, она показала ее мне, а на мою просьбу отдать, мать, взяв из моих рук карточку, сказала:

— Это пробная карточка, и ее нельзя отдать.

Я ничего не понимал. В голове была одна мысль: добраться скорее до вокзала и броситься под поезд, когда при выходе горничная сунула мне записку.

Было написано: «Уезжайте, не смущайтесь, ждите терпеливо. Карточку пришлю».

Я возвратился в Москву и очень скоро получил от нее коротенькое официальное письмо с просьбой посещать ее брата в Москве и уведомлять ее. На случай возможных тревожных известий, чтобы не пугать мать, она просила меня писать по другому адресу. Я сейчас же отправился к ее брату и в тот же день ответил.

По расчету и она, получив мое письмо, в тот же день ответила. Так установилась переписка между нами. Правда, мы писали друг другу в заголовках: «многоуважаемый» «многоуважаемая», но делились всем и писали много, не касаясь никогда мучившего нас вопроса. Она сдержала обещание и прислала свою карточку. К тому времени я имел свою мастерскую.

Я попробовал слепить ее голову. Доктор пришел в восторг и заставил меня высечь ее из мрамора и выставить на выставку. Головку признали все, и я сразу приобрел громкое имя.

Эту головку я отправил ей. И в ответ получил восторженное письмо. В первый раз она обращалась ко мне со словами: «Дорогой мой», и столько ласки, радости, восторга было в этом письме.

«Теперь вы все: вы граф, князь, вы богач, вы первый из первых, отличенный божьей искрой. Я так счастлива за вас, за себя...»

Кажется, все сказано. А между тем...

И я отвечал ей в таком же роде. И так продолжалась наша переписка, когда я получил от нее письмо. в котором она писала, что наступил решительный момент в ее жизни. Мать ее вторично выходила замуж и уезжала куда-то на восток России.

«Я обращаюсь к вам: ехать ли мне с матерью, или оставаться здесь, у тетки?»

Ясно, кажется. А между тем я обдумал вопрос с той только точки зрения, с кем ей лучше быть — мать она любила, тетку нет. И я ответил, что, конечно, советую ей ехать с матерью. Я получил короткий официальный ответ с заголовком: «уважаемый».

«Я исполняю ваш совет и завтра выезжаю. Больше не пишите. Желаю вам всего лучшего».

Я не знал даже, куда она уехала. В то время в Москве никого из ее родных не было, и таким образом я и от них не мог узнать.

Я начинал понимать уже истинный смысл ее запроса, свою ошибку и решил, что, как только узнаю ее адрес, поеду к ней и женюсь.

Но, когда осенью приехали ее родные, я узнал, что она уже вышла замуж за какого-то инженера.

Прошло пять лет. Я ничего об ней не слыхал и не бывал у ее родных.

Опять была весна. Я собирался уезжать на лето, когда получил от двоюродной сестры городскую телеграмму:

«Я приехала из Крыма и имею многое сообщить тебе. Пробуду в Москве только сегодня».

Я пошел к ней, и вот что она мне рассказала.

Нюся — так звали мою героиню — умерла у нее на руках в Крыму. Она только меня любила и вышла замуж с горя, оскорбленная, приняв мой ответ за отказ. В тот короткий промежуток, как я уезжал в Вильно, она призналась матери в своей любви ко мне, но мать тогда считала меня не парой для нее. Моя головка победила и мать.

Я ушел от сестры и шел такой одинокий, такой осиротелый, как будто во всем мире я один еще только остался.

Как пять лет назад, опять пахло цветами и воздух был нежен, но не было ее и никогда больше не будет.

А она могла бы быть. Если б пять лет назад мы договорились, наконец,— она жила бы. И я жил бы. Как жил бы! Если от одной мечты я создал головку, сделавшую мне сразу имя, то что создал бы я, если б удалось, наконец, разбудить себя от какого-то сковавшего нас сна.

ПРИМЕЧАНИЯ

Воспоминания А. М. Горького о Николае Георгиевиче Михайловском (1852—1906, псевдоним: Гарин) печатаются по изданию: М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, М. Гослитиздат, 1948—1956, т. 17. Тексты рассказов Гарина (в том числе и рассказов «Сумерки» и «Вариант», опубликованных посмертно) печатаются по первой публикации: «Вариант»—«Русское богатство», 1910, № 2, «Клотильда» — «Начало», 1899, № 1; «Бабушка»— «Русское богатство», 1904, № 2; «Сумерки» — Н. Г. Гарин, Собр. соч., изд. «Освобождение», 1913, т. 13. Дата написания рассказа «Сумерки» не установлена.

Стр. 3 *..родоначальник веселых праведников, вероятно, Франциск Ассизский.*— Франциск Ассизский (1182—1226) — основатель названного его именем монашеского ордена; о его доброте и жизнерадостности сложено было немало легенд.

...заставившей Анри Дюнана создать международную организацию «Красного Креста».— Жан Анри Дюнан — швейцарец, известен как один из инициаторов Женевской международной конференции 1864 г., на которой было создано общество «Красный Крест».

...доктор Гааз, практик-гуманист.—Федор Петрович Гааз (1780—1853) — старший врач московских тюремных больниц — организовал при пересыльной тюрьме больницу, требовал перестроить тюрьмы, открыл для детей арестантов различные мастерские и школу, помогал доставлять ссыльным в Сибирь письма, газеты, вещи, а также построил в Москве бесплатную больницу для бедноты.

Стр. 4. *...«эпоха великих реформ»* — 60—70-е годы прошлого столетия, когда царское правительство, боясь революционного возмущения масс, вынуждено было вслед за крестьянской реформой

1861 года провести земскую, городскую, судебную, финансовую, военную, цензурную и другие реформы. Хотя эти реформы и носили половинчатый характер, они явились «...шагом по пути превращения феодальной монархии в буржуазную» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 88).

Стр. 6. *...словам — тесно, мыслям — просторно* — из стихотворения Н. А. Некрасова «Подражание Шиллеру» («Форме дай щедрую дань...»).

Витте С. Ю. (1849—1915)— с августа 1892 года министр финансов.

Стр. 10. *Ван-Дейк* (1599—1641) — выдающийся фламандский живописец.

Стр. 11. *...на тему легенды о Цин-Гиу-тонге... легенду эту использовал старинный романист Рафаил Зотов.*— Имеется в виду роман писателя и драматурга Р. М. Зотова (1795—1871) «Цын-Киу-Тонг, или Три добрые дела духа тьмы».

...вообразил себя Робертом Оуэном.— Роберт Оуэн (1771—1858)—великий английский социалист-утопист, основавший в Америке колонию «Новая Гармония», где безуспешно пытался осуществить свои идеи.

...в настроении Тимона Афинского.— Тимон Афинский жил в V веке до н. э. в древней Греции; считая, что падение нравственности в обществе неизбежно, он прекратил сношения с людьми и удалился в уединенный дом-башню; его имя стало нарицательным для обозначения мрачного человеконенавистника.

Стр. 12. *... спорил против афоризма Э. Бернштейна: «конечная цель — ничто, движение — все».*—Эдуард Бернштейн (1850—1932) — лидер крайнего оппортунистического крыла германской социал-демократии и II Интернационала, ревизионист; выдвигая этот лозунг, он выступал против революционной борьбы пролетариата и проповедовал примирение классовых противоречий между пролетариатом и буржуазией.

Стр. 14. *... вместе с другими литераторами подписал протест против избиения студентов и публики, демонстрировавшей у Казанского собора.*— 4 марта 1901 года в Петербурге у Казанского собора происходила студенческая демонстрация протеста против решения правительства отдать в солдаты 183 студента Киевского университета, принявших участие в студенческих волнениях. Полиция жестоко расправилась с демонстрантами. В ответ на это передовые писатели Петербурга (в том числе и Гарин) отправили протест министру внутренних дел, в котором писали: «Мы полны негодования перед подобными зверствами, имевшими, как нам известно, место и в других городах. Мы полны ужаса перед будущим, которое ожидает страну, отданную в полное распоряжение кулака и нагайки».

Стр. 33. *...сочинение Ржиха.*— Имеются в виду труды австрийского инженера Франца Ржиха (1831—1897).

Стр. 45. *Стефенсон* — правильнее Стивенсон, Джорж (1781—1848) — английский изобретатель, создал в 1814 г. первую конструкцию паровоза и построил в Англии первые железные дороги.

...как некогда Ермак искупил свою и товарищей своих вину.— До похода в Сибирь Ермак был атаманом казацкой шайки, грабившей на Волге и Дону русских купцов, персидских послов, а так же царские суда.

Стр. 56. *Это было в последнюю турецкую кампанию.*— Речь идет о русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Россия, пытаясь укрепить свой авторитет на Балканах, воспользовалась национально-освободительной борьбой болгарского народа и протестами в ряде стран против зверств турецкого правительства и объявила в апреле 1877 года войну Турции. В результате героической борьбы русских войск, поддержанной большинством населения Болгарии, турецкая армия была разбита, а Болгария освобождена от турецкого ига.

Стр. 58. *...Владимира с мечами и бантом...*— За военные подвиги к ордену св. Владимира присоединялись два накрест лежащие меча и бант.

Стр. 59. *Хивинский поход.*— Вероятно, имеется в виду поход 1837 года, в результате которого Хивинское ханство было присоединено к России.

Стр. 65. *Скобелев М. Д.* (1843—1882) — талантливый русский генерал, воспитывавший войска в духе суворовских традиций; участник русско-турецкой войны 1877—1878; был известен своей отвагой, стойкостью и выдержкой.

Стр. 71. *...как Беатриче у Данте.*— Беатриче — возлюбленная итальянского поэта Данте (1265—1321), которую он воспевал всю жизнь.

Стр. 96. *Байрам* — мусульманский праздник.

Стр. 122. *Дож* — выборный пожизненный глава Венецианской республики в VII—XVIII веках.

Стр. 123. *Илек* — левый приток реки Урал.

Стр. 130. *...повторяя слова Пруткова...*— Козьма Прутков — псевдоним поэтов А. К. Толстого (1817—1875) и братьев Жемчужниковых: Алексея (1821—1908), Александра (1826—1896) и Владимира (1830—1884), сатирически изображавших современное им общество. Здесь Сильвин цитирует «Мысли и афоризмы Козьмы Пруткова».

СОДЕРЖАНИЕ

МАССОВАЯ СЕРИЯ

**Николай Георгиевич
Гарин-Михайловский**

Рассказы

Редактор *Е. Малинина*
Худож. редактор *И. Жихарев*
Технический редактор *О. Репина*
Корректор *Н. Бондарчук*

Сдано в набор 12/III 1957 г.
Подп. в печать 26/VII 1957 г.
Бум. 84×108 1/32. — 4,75 печ. л. = 7,79
усл.-печ. л. 7,88 уч.-издат. листа.
Тираж 150000. Заказ 278.
Цена 1 р. 60 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Книжно-журнальная фабрика Главлитиздата
Министерства культуры УССР.
Киев, ул. Воровского, 24.



1 руб. 60 коп.